



ВСЯК БЕЖИТ ЗА СВОИМ СВЕТЛЯЧКОМ

роман

Анатолий САНЖАРОВСКИЙ

г. Москва

журнальный вариант

1

От светлячка бор не загорится.

Русская пословица

Есть что-то печальное в скоротечности молодого вечера.

Совершив положенный дневной путь и отпылав дурным жаром, усталое, набухшее солнце закатно пало за соседний дом, и жизнь во дворе, кажется, начала понемногу копошиться, оживать.

Медленно, степенно вышел из сада живописный рыжий кот Варсонофий в белых носочках. В зной кот отсыпался на вытертом едва ли не в блеск его боками распадке яблони под тесной, плотной тенью, обдуваемый редкими, вялыми наскоками ветерка. Уже посреди двора и в тот самый момент, когда кот до хруста в косточках потягивался, почти касаясь животом земли, под ним промигнул крохотный облезлый цыплёнок.

Выпад курчонка несказанно подивил Варсонофия. Удивлённо моргая, он проследил, как цыплек весело отбежал в сторонку, как остановился и присел. Потом Варсонофий неторопливым, ровным шагом подошёл сзади к нему, игриво потрогал белой лапкой. Курчатко в панике повинно запищал, но с места не снялся. Страх парализовал его.

Варсонофий отошёл, сел, обнялся хвостом и принялся с интересом разглядывать успокаивающегося в слабеющих, тихих вскриках пискляка. Жалкий, тщедушный, часто и больно битый мягкими клювиками собратьев, он отпал, отстал от выводка, от цыплячьей кучи и всегда — в жару, в дождь — коротал долгие, вековые дни в одиночестве где-нибудь под лопушьим листом на огородчике у старого плетня. Одному ему было скучно, и он, изгнанный своими, на собственный страх и риск пробовал слить дружбу с Варсонофием.

Писк разбудил под крыльцом Милорда, хо-



зайского пса, рослого, разгонистого в кости. Милорд зевнул с подвывом. Понюхал воздух.

Увидав меня в открытом окне, пёс нетвёрдым со сна шагом взял в мою сторону. На ходу вспрыгнул ему на широкий, как скамейка, простор спины Варсонофий. Милорд и ухом поленился повести. Впервой ли катать рыжего варяжика?

Тревожно заглядывался цыпушонок. Вскинув крылышки, качнулся следом за Милордом с Варсонофием на спине. Приблизившись, троица выжидающе уставилась на меня.

— Ну что, попрошайки, на вечерю пожаловали?

Варсонофий дёрнул усом, отгоняя липучку-муху; ещё не отошедший от жары Милорд вывалил в пол-локтя язык, задышал тяжело; несмело сронил своё робкое «пи-пи-пи» цыплок.

Милорд на лету поймал кусок хлеба и, проглотив, как-то сразу погрузился, хмуро косясь то на Варсонофия, не спеша, обстоятельно жующего чёрствую корочку под кустом сирени, то на курёнка, торопливо подбиравшего крошки и бегавшего раз за разом запивать к жестянке из-под кильки у толстой ножки лавки.

Долгий расстроенный собачий взгляд заставил меня повиниться:

— Прошу прощения, но добавки, пан Милорд, увы, не будет. Ни крошки больше... И на дух нету!

Пёс угрюмо задумался.

Мне вспомнилось, что собачий нос чувствительней человеческого почти в миллион раз.

— Может, — сказал я Милорду, — ты слышишь у меня в клетухе запах хлеба? Тогда иди и покажи... Чего ж ты ни с места? То-то... У самого кишки марш разучивают. Я б давно умял вашу долю, еле удержался... Вот если начальство поднесёт что, так я, слово чести, поделюсь, Милорд...

Милорд недоверчиво, сомнительно посмотрел на меня и тут же, под окном, лёг, глубоко вздохнув; увеялся за дом повеселевший цыплёнок; распута Варсонофий, вздёрнув хвост палкой, золотистым ручейком вытек в заборную дырку — настропалился, в радости покатила коляски к соседской чернушке на вечерние посиделки, которые сплошь да рядом затягиваются до розового утра.

В распахнутое окно хорошо виден весь двор, кусок нашей улицы.

Мне — в удивление...

Вроде я сейчас в Воронеже, в большом областном городе, а улонька — никакой отлички от деревенской. В асфальт не убрана, загрыванела, машины так размолотили её, что две глубокие колеи посреди стали главной её достопримечательностью. В дождь в тех ухабинах величаво плавают важные тумбоватые гуси. В сушь в них укрываются от жары куры, не забывая иногда нестись там же.

Сейчас на улочке никого — только и жильцов, что одни тени. Тени от домов, от калиток с навесами, от глухих заборов, от лип, от тополей, от рябин, от зарослей сирени.

Редко когда пробрызнет туда-сюда какой стригунок, наверняка удравший полетать на воле от сморенной жарой старой пастушки-няньки. Мне нравится наблюдать, как у того под ногами коротко вспархивают серыми воробушками ленивые стожки пыли. Горячая эта пыль, по щиколотку залившая тропки у заборов, была будто живая. Когда пробегал мальчишка, она просыпалась у него под босыми пятками, просыпалась недовольно, казалось, ворчливо, только я это ворчание не слышал: было оно тихое, кроткое со сна, сморённое. И вся эта толстая пыль казалась тоже сморённой, оцепенелой от зноя. Она всё ещё спала, хотя был уже вечер, всё никак не могла прийти в себя. И когда беглец стучал по ней пятками, она поднималась лениво, невысоко и, чудилось, в раздумье оглядывалась томно, тут же снова укладываясь спать в старое своё тепло.

Миротворная, дремотная тишина и покой растеклись повсюду, затопили улочку. Даже трамвай, поди, притих, боится рвать эту тишину. Через два дома улочка обрубается, втыкаясь в колено трамвайной ветки. По утрам и в ночь трамвай на этом повороте так скрежещет, что страхи окатывают душу, кажется, будто он, трамвай, уже по тебе летит, и ужас утягивает тебя под одеяло с головой.

А сейчас почему-то нет того лязга. Шум-то, конечно, бежит от трамвая, звону хватает. Но он не тот — ночной, ярый, а какой-то разморенный, придавленный, виноватый.

Сладостно в такую минуту сидеть под окном и

наблюдать снующую, примёршую в жару и всё ещё никак не воскресшую в ранний вечер улоньку.

Мне хорошо. На душе ясно. И хочется эту ясность раздавать всем, всем, всем. И Милорду, задремавшему снова под окном, и пробежавшему сорванцу, и рыжим мурашам, трудолюбиво, добросовестно снующим у меня под рукой по ветхому, синекрашенному подоконнику в трещинах. Краска кое-где поотстала, задралась ошмётками. Древняя хибарка, древняя... Доскребает свой век...

Тихо, недвижимо всё... Словно вымерло...

И вдруг над этим мёртвым царством угарно хлестанул пьяный ядрёный голосина:

– Иэ-эх!.. Е-ех-а-али-и на тр-ройке
– не догони-ишь!..

А вокр-ру-уг мелькало – не поймё-ёшь!..

Митин голосок. Слышен через лесок. Митин репертуар.

Опять хваченый.

Похоже, от его пеня даже листва протестующе зашелестела на липах у дома. Выжидательно наставил ухо проснувшийся Милорд. И в ближних домах недовольный народушко прихлынул к окнам. Ну какой это леший там горланит?

– Нолик!.. Эй!.. Без палочки который!.. Ноляха-ляха-бляха!.. Ну-у-у!.. Якорь тебя!..

Митя затарабанил в калитку кружком банки с килькой.

Я это не только слышу, но и расхорошо вижу во вделанном в витиеватый наличник зеркальце.

Тут надо пояснить.

С лица, снаружи, дом утыкан крохотными зеркалами, и как-то даже трудно подумать, трудно допустить, что этот недошкрёб, какие только и догнивают свой век по беспризорным деревнюшкам, не просто жилой дом, а нечто такое, что напоминает, пускай и отдалённо, важнящий стратегический объект, снабжённый диковинной, затейной системой зеркального наблюдения.

Стоит человеку подойти к калитке, как его сразу видят во всех без исключения девяти комнатухах, поскольку в каждой есть окно, а есть окно – есть и зеркальце.

Стороной я слышал – говорили соседи-конкуренты, когда звали к себе на постой, – что зеркала подглядывают не только за калиткой, но и за тем, что творится в сдаваемых комна-

тах. Говорили также, что зеркала, поставляющие хитрые новости, выстроены в ряд на телевизоре в комнате у старухи хозяйки; если телевизор плохо показывал передачи из телецентра или скучно, она выключала его и переходила на смотрины жизни квартирантов.

Не знаю, всё ли это так, но что касается наружных зеркал – всё точно, как то, что Митя сейчас колотит в калитку.

Надо идти открывать. Я не спешу. Я – ни капли внимания на Митин гром.

Не нравится, не к душе, как он зовёт меня. Нолик! Дурацкое имечко. Я такого и не слыхивал. Где только и выкопал. Не назовёт, как зовут меня по-человечьи, Антоном, а всё с вывертом. Нолик да Нолик. Разумеется, все вокруг нолики, это только он у нас один пуп на всю планету. Это только он у нас одна важная птичка-единичка...

На крике Митя озлэнно потребовал:

– Открывай, папаха ты каракулевая! Килька несчастная! Ты что, не видишь? Козочка пришла. Чёрной моньки принесла! Бэ-э-э!..

Митя потыкал тяжёлой тёмной бутылью с чёрным вином в зеркальце и в подтверждение того, что он и впрямь коза, сухо, подгулявше пробебикал ещё раз на козий лад. Прихвалился, показывая кильку в кулаке и батон под мышкой:

– У меня не только монька, есть и к моньке, якорь тебя! Так что не отопри в сей мент, кре-епко пожалеешь, бляха-муха. Ну! Эй! Без палочки!.. Нолик! Федулай!! Родионка!..²

Вот типус. Как примет градус, пошёл лепить. Имена одно чудней другого. Какое только не пристегнёт!

Я покивал в зеркальце на наличнике в низком окне, что отстояло от земли на половинку человеческого роста, без охоты бреду открывать.

– Или ты, Павсикакий³, всё давишь безо время подушку? – набрасывается Митрофан с вялыми попрёками. – Совсем выпрягся из-под дуги... Смотри, ой, смотри! А то у меня суд скорый... Твоё счастье, что руки харчем заняты, а то б я тебе, Мируся⁴, от души разок по витринке⁵ мазнул бы для профилактики. Ну да ладно... По случаю отвала прощаю. Получай продукт, – он сунул мне батон, кильку, – и прямой наводкой к столу. – А я – сейчас...

Осолорело, нетвёрдо обежал он усталыми гла-

зами крайнее от угла растворённое окно. С натугой, подняв голос, позвал:

— Ба-аб Кла-ав!.. Ба-аб Кла-ав!..

Готовно, будто ждала зова, в окно выставилась по грудь короткая, круглая старуха. Тёмная до сизи, как жук. Хозяйка.

— Ты чего, Митёк, расшумелся, как муха на аэродроме?

— Ба-аб Клав, — зажаловался голосом Митрофан и трудно, высоко, точно знамя, вскинул над головой чёрную бутылку вверх дном, держа за горлышко, — баб Клав, даю прощальную гас-роль... Надо затопить пожар в груди... Горькие делишки у нашего Пасеньки⁶...

— Мамочка! Это ещё почему?! — деланно всполошилась старуха. И не без подсмешки добавила: — Иль нашего Митрофанеску треснули по попеску?

Митрофан опало, скорбно вздохнул:

— Если бы тре-е-еснули... А то... Кошматерный перепляс! Сам себя тресканул... Во-о! — с усилием осудительно вознёс палец. — Э-э... Глубоко извиняюсь, да долго ль мёртвому укакаться?

— Что, состряпал где таракана с лапами?

— Ещё какого... Это до утра размазывать. Давайте к нашему шалашу на огонёк... Слегка нанесём удар по сумятице чуйств... Устроим скромный заплывчик от портвейна до водки... Цок-цок-цок по масенькой... И я вам попутно всё как на духу выпою... Всё легче...

И, больше ни слова не говоря, озадаченно положил чёрную бутылку на плечо, отчего, казалось, плечо перекошилось, угнулось, будто под неподъёмной ношей, и Митрофан, выписывая ватными ногами вензеля, потянулся в наш чум.

2

*Солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья.
А водка, секс и пироги — наши лучшие враги.*

Г. Конн

Вечер влился в самую пору. Ожила улица. Загудела, забегала, засуетилась в радостной суматохе. Ударил фонарный свет, трудно пробрызгивая рваными золотистыми пучками сквозь плотную листву деревьев к нам в комнатёшку.

Промаячили к крыльцу старухина дочка с мужем.

Была дочка до неправдоподобия мелкая, обиженная ростом и тощая — тощэй самой худой макаронинки. От неё несло всегда не то больницей, не то моргом. Преподавала она в меде.

Зато муж — прямая противоположность. Красавец — утёс! Безо всякой меры разбежался ввысь и на беду — вширь. Похоже, природа поленилась поставить хоть какие ограничители, чем по-недоброму услужила ему. Налился, оттопырился он поперёк себя толще. Это до болезни угнетало его, вышибало из седла привычной жизни. На лице закаменела вечная улыбка виноватости. Виноватость закрыла ему рот. Я никогда не слышал его. Я не знал, да есть ли у него голос. Прикипела, приросла виноватость, не сдёрнуть её никакими силами теперь, как не сдернёшь с лица не понравившийся кому-то нос, как не переменишь цвет глаз в тот цвет, какой больше по сердцу твоей милушке.

Не во нрав легла бабе Клаве непомерная его толщ, и баба Клава, всё же отдав за него свою спичку, выпугалась до смертушки:

— Да оно хотешко и тарактят, что мышшь копны не боится, да это те тарактят, кому та мышшь чужая. Да такой брюхантрест потопчет — останется от бедной Лилтони один мокрый пшик! Не-е! Не попушу я такого пердимонюкля!

И накатило на бабу Клаву — хоть стой, хоть падай! — ломиться ночами на широченный диван между молодыми. Лилька — под стеночкой, Витёка — с краю. Уж коли этот мордант тайком поползёт в сладкую сторону отколупнуть радости, так только через сторожкие баб Клавины костоньки. Тут она, будкая, заслышит, наверняка заслышит, не даст беде разыграться.

Однако неусыпная бдительность бабы Клавы была подмочена самым прозаическим образом, и однажды Лилька, винясь и каясь, со слезами вальнула к матери на грудь:

— У меня будет ребёнок...

Баба Клава не поверила своим ушам. Что ей ещё оставалось делать? После короткого колебания Витёка был изолирован на ночи от семейства. Баба Клава выставила ему в коридоре складушку-лягушку, а сама, запирая дверь на ключ, гнездилась с Лилькой на одном диване.

Так с той поры и легло в обычай: весь матриар-

хат спит в комнате, а единственный на весь дом мужчина — в коридоре.

Но и позже, когда Виктор, светясь, сияя вино-вато-торжественным счастьем, принёс из род-дома кроху Светланушку в одной руке, а в дру-гой — ещё сильней похудевшую и удивлён-но-гордоватую Лильку с царским букетом белых лилий в руках, баба Клава не пала.

Как-то с горячих глаз Виктор посулился уйти.

Баба Клава дала ему полную отходную:

— Крыс-сота-а! Крыс-соги-и-ища!

И тут же этой красоте погрозила кривым пальцем:

— Тольке спробуй, колоброд! Видали! Чёрная линия на него нашла!.. Тольке спробуй, мутот-ной! Сразу посветлеет!!! Я баба войнущая!

Виктор решил не дразнить судьбу. Пускай ль-ётся как льётся. Там толкач муку покажет. Авось перемелется... И пятый год этот грех мелется.

Завидев меня в окне, Света-конфета запресе-дала на ходу, вывинчивая свой кулачок из мяг-кой доброй отцовой руки. Запросилась ноюще:

— Хочу к дяде... Хочу к дяде Антонику...

Не успел я, сидя на койке, дорезать батон, как она уже тыкала мне в локоть розовым пальчиком:

— Хочу на коленочки. На коленочки хочу-у...

Я отставил ногу. Девочка осторожно села, привалилась ко мне. Пасмурно огляделась.

Да, тесноте нашей шибко не возрадуешься. Одна старая широченная кровать на двоих с братцем. Шаткий, голый, даже без скатёрки, стол. Больше сюда ничего не воткнёшь. Пожа-луй, для разъединственного табурета местечко б и выкроилось. Но нет нам табурета. Оттого кров-ать служит нам и для сна, и для сиденья.

В ожидании трапезы Митрофан прилёт на по-душку, не подымая ног с пола. Я сижу на крайке, достругиваю батон.

Светлячок ворухнулась у меня под рукой.

— Дядь, а зимой у меня была свинка. А поче-му я хрю-хрю не говорила?

— Наверно, не догадалась...

— Аха! — ликующе взвизгнула она.

Привстав, тихо толкнулась твёрдо сжатыми жаркими губёнками мне в щёку. Я молчу. Че-рез секунду, насмелев, толкнулась уже чувствительней.

— Ты что делаешь, Светлячок? — спрашиваю шёпотом.

— Селую! — так же шёпотом отвечает. — Я люблю тебя, дядя...

Слышавший нас Митрофан — прикидывал-ся только, что спал, — с нарочитым восторгом хохотнул:

— Братцы-кролики! Как же далече всё у вас заехало! Любофф, поцелуйчики... Что ж ты те-перь, Светунчик, думаешь делать? — сам и от-ветил: — Думай не думай, а раз любовью запах-ло, надо собираться замуж.

— Я взамуж не пойду! — строго отрезала девоч-ка, прячась у меня под локтем. — Не хочу, как мамка... Бабушка её всегда-повсегда ругает!

— Не хочешь быть мамкой, будь папкой, — не отставал Митрофан.

— Не хочу и папкой. Ещё ограбют.

Мы с Митрофаном переглянулись и разом спросили, поражённые:

— Кто-о?

— А бабушка! — захлёбисто зашептала девоч-ка, косясь на дверь, боясь, как бы не услыша-ла её именно бабушка. — Вчера папка принёс получку. Бабушка отобрала у него всё, даже мне на мороженое не оставила. Бросила де-нежки в стол под ключ, а папке сказала: «Ма-ло принёс, всё равно что ничего не принёс. Не получал шелестелки⁷, а говоришь — получал. Иди, иди», — и показала, как бабушка в толч-ки выпроваживала отца из комнаты.

— Значит, — враспал бухнул Митрофан, — за-муж тебя на аркане не утащишь? А кем же ты будешь, как вырастешь?

— Неве-е-естой! — с вызовом пропела Света. — И сразу пойду на пенсию!

— О! — бросил в неё палец Митрофан и в знак высшего одобрения со всей силы, со всей мо-ченьки саданул разом обеими ногами в пол — со стены свалилась побелочная пластинка. Ударившись о затёртый чёрный шар на спин-ке кровати, пластинка мелко и светло брызну-ла во все стороны. — О! Устами младенца исти-на разболталась! Закормленная нынешняя мо-лодёжь вона как к житухе притирается! Не в деревнюху собирается она коровам титьки дёр-гать. Не на завод... А прямушко в невесты, якорь тебя! А из невест — на пенсию. У девок, говорят, всего лишь одна в жизни пересадка: с

родительской шейки — на мужнину... А у неё другая пересадушка...

Вошла старуха. Митрофан смолк, будто его слова обрезало.

— Что за гром? — бегучим взором окидывая комнату, насторожилась старуха.

— Да Светушка всё чудит, — досмеиваясь одними глазами, пресно проговорил Митрофан.

— А-а... Эта нескладёха может, может... — И, взяв девочку за руку, вывела за дверь, легонько подтолкнула: — Почудила и хватит, давай спатуньки. С боженькой топай в своё Сонино. Пора.

— Нет, не пора...

— Бегом отсюдушки! — шумнула бабка. — Не то по шлёпе добудешь!

На судорожном вздохе Света без охоты уходит.

Ни к кому не обращаясь, я спросил, не включить ли нам свет.

— Зачем? — возразила баба Клава, приваливаясь локтем на край стола. Сесть ей негде и не на что. Похлопывая и потирая руки, вкрадчиво, плутовато проворковала: — По случаю случайному разве грех потоковать впотемни? Так даже под интерес... Невжель кто полный стакану мимо рта увезёт в Грецию? Есть такие?

— Могут быть, — надвое ответил Митрофан, подсаживая меня локтем в локоть и разливая вино по трём высоким гранёным стаканам. — Ну, — подал мне крайний, — бери, Агнюша⁸. Утоптал до краёв... Смажь утомлённый организм! Посмотрим, смелюга ли ты. Выйдешь ли один на один с аршином⁹.

— А сам? — подначливо кольнула его старуха. — А ты сам-то смелун?

— Я-то смелый стакановец... Можно сказать, герой, — лениво, врасстяжку потянул Митрофан. — Тыщи разов выходил и валял!

— Горькая это смелость, — вяло осадила его старуха.

— Может быть, — уступил голосом Митрофан. — Но вспомнить приятно... Вот посмотрите... Пока свет ещё не весь ушёл, может, что и разберёте...

Митрофан потянулся к чемодану — сторчаком высовывался из-под койки, — выдернул из его угла пакет, веером выплеснул на серёдку стола карточки.

— Смотрите!

Старуха наклонилась к самим карточкам. Поморщилась:

— Пьянка во всех позах... Бухарик... Можно подумать, ты жил от буха до буха... Цельный бухенвальд!.. А я так скажу. Пьянка — она и есть пьянка...

— Не пьянка, а культурный отдых от трезвых дел, испытание градуса на крепость... А по большому счёту — память! Хорошая, прочная память о техникуме, о службе. Меня из техникума вымахнули в армию, на флот, в самую в Евпаторию... Так что крабошлёп¹⁰ перед вами... Потом снова в техникум вернулся... Все мои корешки теперь со мной... Не будь винца, разве б согнал кого сниматься? По трезвянке? Да ни в жизнь! А то... — Митрофан грустно заперевирал карточки. — Это на дереве поддерживаем тонус... Зелёная конференция¹¹, якорь тебя!.. Это я один на осле, но в шляпе... С баяном... Уже тёпленький... хор-роший... Мне тогда первый раз в жизни за стопарик домашней чачи один дал шляпу на день поносить, так я этот момент для истории наглядно приберёг... Это мы в поле, вроде убираем картошку, а ясно подытоживаем бутылочку... Это мы на воде разбавляем пресные будни... Топим горе в вине... В лодке... сушим водочку... То-олько успел фотчик схватить нас на плёночку, мы и кувырк... Лодку перевернуло... Ну черти раскачали, мы всем гамузом и посыпались в воду. Хо-хо-ту-у!.. Эх, если б не горячее винишко, что б и вспомнить?.. Знал Петро Первый, что говорил: «Веселие на Руси есть пити!» А золотой его указ забыли? Не помните? Так напомним, на зубок знаю... «Яства потребляй умеренно, дабы брюхом отяжелевшим препятствий танцам не принять. Зелье же пить вволю, понеже ноги держат: буде откажут — пить сидя. Лежащему не подносить, дабы не захлебнулся, хотя бы и просил. Захлебнувшемуся же слава, ибо сия смерть на Руси издревле почётна...» Почётна! — Митрофан торжествующе выставил палец. Помолчал и снова за своё: — Пити — это когда так врежешься в водяру, что «папа-мама» сказать не можешь. Это намухоморишься... нагужуешься до таких чёртиков, что не устоишь на травяных ножках! А разве это, — скептически качнул головой на бутылку, что чёрным привидением восставала, поднималась над застольем, над всеми нами, — а разве одна литруха на троих... Это, миряне, не

веселие, а, простите, тоскливое щекотание горла... Тоскливое... Толком не окунуться в винные просторы... Ну, — он без энтузиазма, вроде как по тяжкой обязанности, нехотя поднял свой стакан, стукнул дном в мой и в старухин, — выпьем за то, чтоб всё у нас было и чтобы за это нам ничего не было... Дай бог, чтоб не последняя.

Баба Клава кисло поморщилась.

— Митечка! Ты так скучно принимаешь лекарство от всех простуд? Без боевого горячего тоста? Без такого тоста принимать горькую грешно! Так будем же безгрешными! Мой тост, — баба Клава облила Митечку любовным взглядом, — посвящается молодому моряку, поэтому я желаю ему обзавестись, так сказать, взять на буксир хорошую жену, приличный доход, надёжный корабль и спокойное море! За тебя, Митечка!

Митечка зацвёл майской розой:

— Спасибушко, баб Клава. Вы тут пожелали мне хорошую жену... Только... Откуда ж её, хорошую, выписать-то? В техникуме с одной козой... Там вся из себя. Прямо нечем дышать! Пальцы с разноцветными коготками веером. И вечно в тех пальчиках никотиновая палочка¹². И вот к этой козе я ц-ц-целую неделю шары в гости! А проть красной армии не попрёшь бочки. Ещё в детсаду мы как пели? «Красная армия всех сильней!» Как уламывал... Затарился французскими шапочками¹³! Полных два кармана закупил!!! А она — нет и нет! Низзя! Великий пост! Ну что с этой куку возьмёшь, если у неё фляга свистит?! На злах я готов был втереть её в палубу! Да-а... Так ничего у нас и подкатывал. Фестивалили, ух, от и до! Всё было шокин-блю! Всё, ну пучком! Всё катилось к полному пердимоню! Всё летело к великой встрече на Эльбе! И на!.. Ну надо же?! На полных оборотах крутили дикую шашу-беш¹⁴. Масть пошла, а деньги кончились! Ну это надо? Красная армия¹⁵ пожаловала, не выкрутилось. Всё разохло! Мда-а... Ничего не поделаешь тут... Лукавая госпожа Лямуркина дала отбойный пердю¹⁶! Но, как видите, я не помер с такого горя. Ещё встречу свою хорошку. Только, чтобы дожить до бриллиантовой или хоть до серебряной свадьбы, надо иметь золотой характер жены и железную выдержку мужа. Выпьем же за чудесный сплав, за расцвет отечественной металлургии!

Баба Клава недовольно хмыкнула.

— Извините! Извините! — заторопился Митечка словами. — Не то выдал. Получилось про меня. А надо про вас! Баб Клава! Уж мы с вами будем сегодня совершать преступления: убивать... время, топить... горе на дне стакана, морить... червячка, драть... горло, душить... смех и пороть... весёлую чушь!.. В великолепной коллекции сегодняшнего вечера есть одна жемчужина — это баба Клава. Выпьем за её здоровье и обаяние! Выпьем за хороших людей: нас так мало осталось!

И в два глотка Митечка досуха убрал стакан.

Закусывать не стал. Только хукнул, раскидал ладошкой дух перед собой. Вся и закуска. Работает дядя на форс. Ну и ладно. Нам больше еды достанется!

Старуха, напротив, пила медленно, наслаждаясь каждым новым мелким глотком. Она даже подивилась, правда, уже без рисовки, что дно есть и у гранёного стакана, неверяще сдавила его обеими руками, покрутила, будто выжимала, как при стирке, и остатки в несколько капель на вздохе бросила в себя.

— А ты чего ждёшь? — накатился на меня Митрофан. — Ждёшь особого постановления ЦК? Давай лови градус! Не мни стакан, пей! Ну! Затемяшь, якорь тебя! Покажи, как ты можешь!

Я не стал причащаться. Не потому, что мне горелось повыёживаться. Я просто не мог и не пил это хлебово, но ради приличия, как я всегда делал, прикинул полный стакан к плотно сжатым губам, подержал с полминуты и, поставив его на стол, резво накинудся на еду.

— Вот вам живая картинка! — Митрофан мёртво наставил на меня палец. — Я с ним всегда в противофазе... Разве такой, извините, труженичек понесёт градус в массы?! Да он... Застрелиться солёным огурцом! Да он даже о себе не хочет позаботиться. Подумайте! Отказался оросить свой родной обезвоженный организм! На этом фоне неудивительно, что он сегодня не принял эликсирчику за мою будущую хорошую жену, посмел не эхнуть даже за расцвет нашей отечественной металлургии! Это уже опасно. Полная аполитичность! Он, понимаешь, не желает расцвета нашей отечественной металлургии, а в её лице и всей нашей великой Родине! Вот что страшно!.. Сегодня этот божий леденец

вернул полный аршин, а завтра этот герой... этот Герочка, случись война, думаете, побегит накрывать своей муравьиной грудкой вражий дот? Извини-подвинься... Сегодня он не пожелал помочь нам свернуть шею зелёной ящерице, а завтра наверняка свистанёт от того вражьего дотика в противоположную сторону! Что ни твердите, а я своей принципиальной позиции в этом вопросе не изменю!

3

Фиговый листок всегда на самом видном месте.

Л. Леонидов

— А не меняй, — великодушно согласилась — Аразогретая старуха.

— Вы думаете, на войне зря давали перед боем стограмидзе? — не утихал Митрофан. — Какой же из него защитничек Отечества, если он один стакашек не может свалить в себя?

— Докачает до твоих лет, гляди, и тебя обскачет, — весело отрезала старуня. — Лучше расскажи, мамочка, куда ты сегодня бегал.

Митрофан замолчал. Даже задумался.

Горько усмехнулся:

— Эх, баб Клав! Всё рассказать ночи не хватит. Авкратцах... Понимаете... Тут не знаешь, с какого боку и подойти... как подсукаться... Сами мы здешняки... Воронежские. Из-под Калача. Отец из Новой Криуши, мать из хутора Собацкого...

— Стоп, стоп, стопушки!.. Ты мне про Калач дудишь, а чего ж вы примолотили из какой-то Махаразии?

— Не из Махаразии, а из Махарадзе... Не... Я лучше порядком побегу. Так оно верней. Иначе ничего не поймёте... Значит, в тридцатые, когда этому партизану, — кивок на меня, — до явки на свет божий оставалось ещё энное число годков, наши родители, молодые озоруны, шатнулись за Полярный кружок. На лесохлеба. Ну, покатали брёвнышки... Ну... То ли разонравилось, то ли позвала в путь дорожка... И дунули наши через всю державу на юга. В новый совхоз в Насакиралях. Это под городком Махарадзе. Дунули чаи гонять! Корчевали леса, закладывали чайные плантации, потом горбатились на этом чаю дай боже как. С зари до зари... Тут разлилась по земле война...

Баба Клава тоскливо махнула рукой:

— Скажи, Митрок, ты сам сейчас дошёл или тебя подкинула «хмелеуборочная»¹⁷?

— С-сам... А ч-что?.. Или вы меня в чём крупно подозреваете? Или открытым текстом подозреваете, что я оторви-алик? Круто заблуждаетесь!!! Да я с-с-самый горький трезвяк!!! О-о... нет... Ка-ак вы запущены!.. Вас надо образовывать, образовывать и ещё раз образовывать! Ни секунды на промедлянку! Да слышали ль про табель о ранах... э-э-э, о рангах? З-знаете ли вы, что все бухарики делятся на четыре класса? К первому относятся выносливые. Это те, которые, нанеся чувствительный удар по застою в нервах, не в состоянии автономно передвигаться. Их выносят. Второй класс — положительные. Набарбарисились и смирно лежат там, где положат. Зато вот третьи, застенчивые, замывши неприятности, передвигаются, держась за стеночки. А самый авторитетный класс — это малопьющие. Которые графинят, графинят, графинят, и всё им мало! Я с почтением отношу себя к малопьющим-с. Да-с! Пью, пью, да всё мало! А вы на что намекали?

— Да, разлил... Развёл ты тут хлёбово¹⁸... Калач... Север... Махаразия... И всюду родители своей волькой кидались?.. Не верится что-то... Да не кулацуги ли вы? Вас не кулачили в Криуше?

— Меня с ним, — качнулся Митрофан ко мне, — вроде не кулачили... Может, позабыли?.. А и не позабыли б и очень уж горячо захотели — всё равношко не смогли. Мы с ним хва-аткие! Переждали фашистскую коллективизацию у мамушки под серденьком и только потом смело выскочили... Первым я... Видите, уже тогда я был смелый... А он шесть лет колебался вместе с линией страха... Только уже на Севере явился не запылится этот божий гостинчик... А чтоб кулачить родителей?.. Я что-то и не слышал... Ну... Отца взяли на фронт. Сделал всё, что смог... Погиб... Мамушка одна выхаживала... выводила нас в люди. Нас у неё не двое, а трое. Глебка ещё. Середнячок. Служит сейчас. Худо-бедно, а смотрите... Мать одна троих подняла! Сама расписаться не может, а что нам дала? У меня техникум. У Глеба с этим Фанушкой¹⁹, — качнулся ко мне, — по одиннадцатилетке²⁰. Я с отличием отбегал в Насакиралях школу. С отличием этим летом дождал-таки и молочный свой техникум в Усть-Ла-

бинске. Диплом у меня красненький, при распределении — первый выбирай. Я и разбежись на Серов. Выхватил лучший кусок! Самый большой город, куда требовался наш брат механик на молочный завод. В письме докладываю мамушке по полной счастливой форме, так и так, без пяти минут я уже Ваня²¹, еду на работу в город. А она и скисни, никак не рада тому Серову, тому Уралу. «Та сынок, та шо ты тамочки забув на тому Врали? Не все холода щэ собрав? Не, сынок, трэба правытысь к родному кутку... Где по свету ни блукай, а косточки, главно, трэба везти в родну землю. Своя земелька мякше...» А и правда... Чего менять одну чужбину на другую? Мало ль нас помучила та же страна лимоний и беззаконий? Хорошая земля Урал, а лучше правиться к себе на родину! И дикой полуночью, в одних трусах, дунул я по общежитию меняться. Серов! Город!! Город областного подчинения!!! На любую воронежскую деревнюшку! И выменял у одного кореша... Он на тройках еле выполз из техникума, пала ему воронежская глушинка. В город, понятно, его никто не позовёт, а село уж, вздохнувши, примет. Нужда неразборчива... Ну, я к этому корешку. Корешок и обомри от счастья. Сам Серов! Пускай и далече, пускай и конец географии, так зато приличный городуха. Серов! Уже точно! Он мне: спасибо, спасибо, кланяется, а я ему: спасибо положи себе за пазуху, а мне гони в натуре грелку²². Вечный²³ двигатель и развёз нас кому куда охота. Ну... Умяли одно, выпирает другое... Прилетаю домой, а тут ещё один выпусканчик, этот веснушчатый тушканчик. Вот так набежало... Да-а.. Мне на работу к первому августа, а этому шкету... — Я с силой наступил ему на ногу под столом. Да ну выбирай ты слова! Митрофан коротко, едва заметно поклонился. Понял! И, выразительно, с угодливой насмешкой плясь мне в глаза, продолжал: — ...А нашему Кисе... Киса от имени Наркисс — прекрасный юноша, превращенный богами в цветок, по мифологии, конечно... А нашему выюноше ровно месяцем раньше надо пробоваться на вступительных. Понятно, особо не перебирали. «Нехай едет у Воронеж, поближе к своим», — сказала матонька. Решение начальства не обсуждается. И тут выскочи навстречу хитрый перепляс. Ехать нам в один город, мне за направлением уже на окончательную точку, этому вундику в университет, ехать в одно

место и — подврозь? Лично мне это не понравилось. Целый месяц гнись на чаю в жару, в дождю. Ну его, этот чай, ёжику под мышку! Я и подкатнись лисуней к родительше. Как же, говорю, мы так бездумно пошлём в такушую даль одно наше достояние? Он поезда путём не видел.

От обиды, от такой наглости я даже перестал жевать батон с килькой. Какая ложь!

— Как это не видел?! — вскипел я. — Как это не видел?! Да ещё прошлым летом приезжал к бабушке в Собацкий на каникулы. Совсем один приезжал!

Митрофан скучно поморщился.

— Ой! Ну, с тобой спорить, надо гороху поевши, чтоб по два слова сразу высказывало. Ездил, ну и ездил, тоже событие. И на этот раз сам бы доехал, ничего б от тебя не отвалилось... Не горячись, вовсе не под твой интерес я работал. Как-то не хотелось до смерточки мне месяц ломать спину на чаю, я и выхлопочи себе непыльный чинок провожатого. У мамуни душа тонкая, мамуня и отпусти.

— Оле-е-е... — растерянно пробормотал я. — Я думал, мама сама навязала тебя мне в провожатки, а ты, оказывается, вынудил её. Хор-рош якорёк...

— Бесспорно, хорош, — приосанился Митрофан. — А кто сомневается? Чего сморщился? — Он наклонился ко мне, потянулся к уху, пускай не слышит баба Клава: — Ну, чего сморщился, как пукало после бани?

Я отсел от стола и, надувшись, повернулся к стенке.

— Давно бы так, — негнушимися пальцами Митрофан похлопал меня по плечу. — Помолчи, дай досказать... Так... Ну... Даже не поверите... В первый же день уже через час вылетел я из управления с хрустким направлением в Каменку. О боже! Свершилось! Вот я уже и в полном законе на родной земле! И отцова Криуша, и моя Каменка на «К» начинаются, на «А» кончаются... Похожи... Может, они похожи друг на дружку, как вилка на бутылку... И пускай от Криуши до Каменки неблизкий свет, так зато всё ж область одна, свет один! Воронежский!!! Одна сторонка, один край... Родимый... Господи! На душе форменный фестиваль. Поверите, очумел от радости! Шествую по Революции, а самого из стороны в сторону счастье качает. А город причепурился,

весёлый, ликует. И вижу я не то вьяве, не то мне блазнится: со всех сторон из-за прибранных нарядно домов взлетают ракетки, мягко лопаются в выси, и уже с неба с шиком сыплются на город в густом множестве красные, синие, голубые, оранжевые, зелёные огни-дожди. Что за диво?!

«Это, — ласково шепчет из-за плеча голос, — салют в вашу честь. В честь вашего возвращения на родину!» Оглядываюсь — рядом никого... Ну, доплыл до Петрова скверика. Сел на скамейку. Сижу. Может, час сижу. Мож, два... Отошёл от салютов в душе, гляжу наперёд так. Вижу с горки реку, лощину. Дальше — дома, дома, дома. Дымы, дымы, дымы. Народ созидает.

Только я так подумал, подходит Петро Первый. О имечко! Утёс! Скала!.. Глянул он на меня этак по-царски, с капризцем и не узнал. Фи!.. Подумаешь! Я его тоже не узнал и отвернулся. Тут он крепко задумался, потом снова посмотрел на меня и узнал. Тогда я его тоже быстренько узнал. По ботфортам. Петро их сам себе шил. Я тоже шил своим архарушкам чуни из автопокрышек.

«Чего расселся? — опрашивает он меня не совсем вежливо и тычет якорьком на дымы за рекой. — Созидай, на других гляючи!»

«А чего созидать?»

«Тьфу ты! Хоть думай котелком, что ли!»

С досады огрел он меня тяжелиной якорьком по маковке. Звон пошёл, как от пустого чугуна, в котором матуся нам всегда варила. Звон пошёл, а боли никакой, только ещё веселей мне стало.

На его якорьке вмятинка образовалась от встречи с моей головкой. А на моей думалке, едрёна кавалерия, никакой и самой малой царапушки, никакого другого повредительства.

Благословив, Петро вернулся к себе на гранитную возвышенку. Это метрах в пяти от меня. Одёрнул бронзовый мундиришко. Бросил левую руку в простор впереди, правую опустил на якорное кольцо. Приосанился, коротко скосил на меня взгляд: «Думай!» — и каменно уставился на заречные дымы.

Тут меня вынесло, вытолкнуло из сонного провала.

Гляжу, а рядом действительно памятник Петру, точь-в-точь какой во сне видал. Тряхнул я головешкой своей, смахнул с себя последнюю сонную дремь.

Вот те на-а! Сам царь дал указание. Думай! Я и

начни думать. Про то, что делать. Впереди вывалился пустой месяц. Чем его затолкать? Качнуться назад к маманьке на чай? Что-то не манит... Чай — это не с рюмашечкой целоваться... Зайди с другого боку... Я ж свободен, как фанера над Парижем! Однако... Кружить месяц по чужому городу без дела? Остаться сшибать бабки, в проходем ряду торговать ветром? Ненаваристо... Хотелось серьёзности, солидности, и толстый повод прикипеть, прикопаться в Воронеже на месяц всё-таки отыскался. Голь остра, голь мудра, голь на выдумку быстра!

Я ж, говорю себе, сбивши кепон на затылок, приехал сюда не отбывать три техникумовских года! Я приехал на родину, приехал сюда навсегда, так и надо ж напрочно ставить себя на своей земле... Не буду и не рвусь я в вечные механики. Плох тот солдат... Генералли мне не помешает, так надо ж к генеральским звёздам с первого дня бежать. Не сидеть, сложа на холодном пупке ручки. Прибиваться к занятию, действовать, созидать! Там, в Каменке, хоть разорвись в деле, а тебя никто не увидит, не оценит. Там и сопреешь... А у меня, извиняюсь, Каменка — короткая стоянка, всего лишь пересадка. Моё место как минимум тут, в областном управлении! Так пускай присматриваются, замечают меня с сегодня! Надо мелькать! Надо примелькаться! Войти в начальство! Залезть, сесть ему в печёнки, в сердце, в прочие селезёнки!

Вот такая явилась идея. Правда, не я, а один одессит у нас в техникуме говорил: «Если у тебя появилась идея, так купи селёдку и морочь ей голову». Что мне селёдка, эта колбаса с глазами? У селёдки и так голова заморочена. Сигану-ка я повыше! За месяц стану я здесь свой весь в доску. С кем-нибудь вплотняжь законтачу, сведут с начальством... Глядишь, я и получу пускай самый маленький хоть приставной стульчик при столе в самом нашем молочном управлении... Я ещё тут и присохну! А Каменка без меня пускай себе цветёт и пахнет!

И вдарился я в смертный бой за непильное, нежаркое, но достаточно прогреваемое тёпленкое местечко под родным солнышком. Все стадом бегут к девяти. Бегут Емели, Максюты, Саточки, Макридки, Фисы... Бегут парами Лёвочка с Леоней, Пара с Ксанфиппой, Гурейка с Урсулкой, Лупаня с Тигруней, Кася с Лейкой...²⁴

Все бегут стадом. Я тоже нырь в то стадо. И шевелю деловито конечностями. Мне тоже до смерти надо к девяти ноль-ноль в управлении!

Все как? Проскочил вахтёра, а там хоть к делу не приближайся во весь день. Я как все...

Обсуждают кобылки то ли чью любовь без крика²⁵ или с лёгким криком, чтоб не спугнуть кавальеро, обсуждают то ли чью обновку, так я не пройду, чтоб не разинуть хлеборезку²⁶. Я всегда в седле. У меня наготовке своё понятие, что-нибудь тёпленькое да вякну и про крик, и про тряпицу... Одно слово, аккуратно давялю ливер²⁷. Одной, с декольте, скажешь, что декольте — это ещё одна форма сохранения материи, она и рада. Другой, с разрезом на боку, соответственный и комплименто, пускай и чужой: «Разрез на юбке позволяет идти в ногу со временем». И она зацветает. Я тоже пробую цвести, надеюсь, раздолбай гороховый, что намекнёт на свиданьице. Она забывает намекнуть. «О женщины! Вам имя — вероломство!» Но я не гордый. Я подожду до нового случая и отбываю в свежие края.

Вон мужички жгут папироски... Бациллярий²⁸ в коридоре!

Стрельнёшь какую-нибудь астму²⁹ и себе чадишь-давишься. За компанию. Хоть сам отроду не курил. Побациллил в одном углу, в другом, в третьем — все хором побежали на обед. Я как все. Тоже шевелю помидорами в сторону обеда... Со всеми разом с обеда. Со всеми разом вечером по домам... От звонка до звонка честно не высываюсь из своего молочного управления. Меня все знают. Держат вроде за своего.

Только...

Уходит неделя — на меня повеяло прохладой.

Я не теряюсь. Понимаю, не может всё лететь без сучка, без задрочинки. Издержки производства неизбежны... И вот на вороних проскакивает ещё неделя. Уже не прохладно, уже просто холодно мне. Я становлюсь свидетелем обратного эффекта: чем дальше в лес, тем меньше дровишек. Где я, мымрик, ни возникни, везде от меня воротят носы эти Кирюни³⁰!

Вот за стенкой грохот. Веселье в рабочее время! Безарбузие тире безобразиие. Принципиально вхожу. Сразу траур. Будто им непустой гроб на стол поставили. Все сразу постнеют, втыкают

глядушки в бумаги — на всякий пожарный случай валяются бумажки под рукой.

В коридоре курцы принимают важную процедуру — копчение собственным дымом. То-олько подрулишь — папиросину к каблук, досадный плевков мимо урны и все небокоптители врассыпошку. И вообще, замечаю, все стали какие-то подозрительно деловые. Коридор вроде уже и не бациллярий, а какие-то собачьи бега. Шьют туда-сюда, туда-сюда. Туда Мара — сюда Мулька, туда Нуня — сюда Плака, туда Линуся — сюда Симуля с Илей...³¹ Да ненапорожне, а с бумажным грузом. Все сопят. Мно-ого об себе понимают!

В северок³² войдёшь — стыдно глянуть. Всё на лету, всё на скаку. Куда скачете, тимолаюшки³³? Кто из вас ускачет дальше своего облезлого стола?

4

Каждому кажется, что он не каждый.

А. Макарьева

Уже совсем стемнело, когда Митрофан кончил свою тоскливую пустобрешину.

Скучно уставилась на него баба Клава.

— Не смотрите так на меня. Давайте, — Митя разлил остатки по двум стаканам, подал один бабе Клаве, — давайте я скажу вам тост по-японски. Сико-сан токие босе-сан икие тольканава толияма тамэ-сан. По-русски это значит: кто за женщин не пьёт, тот живя не живёт. Сико-сан! За милых дам!

— Спасибо, Митрофаша! — подхвалила баба Клава.

Ободрённый Митечка весело сознался:

— Сейчас я чувствую лёгкое опьянение и головокружение. А причина — веноч роз и лилий, который мы встретили здесь. За вас, богиня любви! За вас, гордая мадонна!

— Спасибо! — баба Клава выше подняла своего стопаревича. — Пусть будет флот на море, а мужики в конторе!

— Пусть! — подкрикнул на подгуле Митечка, и они выпили.

Выдержав в молчании с минуту, скорбно-назидательно вдруг выпела баба Клава:

— А надо, Митрофанушка, всё же пить с головой!

Митечка как-то разом сник и кинулся побито оправдываться:

– Да разве ж я не понимаю? Сам хотел выпить именно с головой, с лимоном³⁴, а упоил, растрандыка, рестораном постороннего... Думал же, поможет прикопаться в управлении... А выскочил жирный прочерк... Угостил рестораном просто Проходимкина... Чумовой козлизм! Ка-ак он, прыщ поганый, качнул мои капиталики! Ну и мерзавчик!.. Матонька с какими трудами клянчила по соседям эти деньжанытки... Вела, сбивала в одну стайку рубчонков к рубчонку... Ка-ак я сам берёг... За всё время ни себе, ни ему, – повинно тронул меня за колено, – не дал я сесть в трамвай, в автобус. Утром пехотинцем гоню-провожаю его до университета – нам по пути! От университета я уже один бегу дальше, в управление. Пешим порядком, на своих клюшках, на одиннадцатом номерке, через весь город только и разъезжали, экономию всё держали... Пятак к пятаку стерёг, а этому аквалангисту³⁵ Сосипатке – видите, спа-си-и-тель-отец! – всю кассу в полчаса спустил под хвост!.. Ну кто я после этого? Старый баран! Петронилла... Да! Старый баран!..

– Ну, чего убиваться? – безучастно покивала баба Клава. – Поезд ушёл... Надо помахать ему ручкой да взять урок на будущее. Дорогие уроки тем и хороши, что дорогие... Смирись... Скванному всё золотой верх... Да! – в её голосе качнулось любопытство. – Раз ты отчаливаешь, а позволь тебе один вопросишко на дорожку... Что это у тебя за каша с именами? Всё некогда было спросить... А тут... отбываешь... Что ни минута, новое имя выскакивает...

– О-о!.. – довольство широко растеклось по Митрофанову лицу. – Не новое вовсе. А старое... Вы, баб Клав, за большую струну шипнули... Кто собирает марки, кто спичечные коробки, а я – имена. Да знай все люди, что значат их имена, они б, люди, больше ценили, уважали самих себя... Вот моё... Митрофан – «явленный матерью»... Явленный-то явленный, да ни отец, ни мать в ласке не звали меня как положено – Митря. А всё Митя да Митя. Я и привык, что для всех я Митя. Нравится мне Митя. И назови меня кто Митрей, я готов кулаки расчехлить... А этот разбойник... – Мит-

рофан глянул на меня. – Он у нас утренний, ясный... Ой, я спутал. Он у нас не утренний и совсем не ясный. А «вступающий в бой!» Ёк-макарёк! Какой грозный наш Антя!

– Только что ж ты своего «бойца» не зовёшь своим именем? А всё... Двадцать раз на дно обратишься, двадцать раз всё с новым именем. Да одно чудней другого...

– А привычка... Моя воля, я б давал человеку сразу десятка три имён, и пускай всяк зовёт, как в какую минуту лучше. Скажем, сделал вам человек добро. В ту минуту он вам Лáрушка, Ларя, Ларгий... «Щедрый»... А утешает в горе... Наумушка. Наум – «утешающий»... Верен вам муж целую неделю... Парамон! «Прочный, надёжный, верный»...

– Под всякий случай имя? Где набраться?

– Давно набрано, да всё раскидано! Сейчас в ходу сотни две имён, а было когда-то под сорок тысяч! Сорок тысяч!.. Пробросались, профукали... Старые имена непривычно звучат... А сколько среди них красивых! Меня так и поджигает их все вернуть... В них ушедшая Россия...

– Не горюй, Митяша! – стукнула баба Клава по столу. – Ушла старая, ну и пускай идёт. Ворочать не побежим. С погоста не таскают назад... Лучше скажи, чего наложено в моё имя? Что оно просказывает?

Митрофан надолго задумался.

– Ты чего вымалчиваешь? – теревит его баба Клава. – Иль преешь, как половчей слить пулю?.. Не надо брехотени... Правду где ни бери, да подай!

Опустив голову, Митрофан с натугой пробормотал:

– Скрытная... ненадёжная... шаткая... хромая... Всё.

– Спасибо, хоть всё! – отхлестнула старуха. – Предупредил... Это ж где ты надёргал мне такой букетик? – старуха подперла себя с боков кулаками. – Где? – распаяясь, выкрикнула она.

– В книжках, – смято доложил Митрофан. – Я понимаю, это имя вам вовсе не идёт... Вам бы лучше... Флора... Богиня цветов и весны!

– Ну... – старуха помягчала. – На богиню я вся согласная... На цветок согласная... А кабы я была маленькая, как бы меня звали?

– Лора... Лорка... Х... Хлорка...

— Иди ты ежей пасти, горький забулдыжник! — снова влетела в гнев старуна. — Начал с богини, а кончил хлоркой.

— Можем и от хлорки уйти... Пу́ша... Вам бы разве не подошло? Пульхерия... красивая... Или Ксюша... Поликсения... Очень гостеприимная... Или Прося... Проску́ня... Вдобавок к славе... Или сама Гонеста... Достоянная уважения, честная, почтенная...

— Сперва наворочал кучу гадостей, а потом запел: честная, почтенная! Надо было и начинать с почтенной.

— Так то не про вас, — Митрофан до шёпота сбавил голос.

— А! — снова обиделась старухня. — Как почтенная — так не про меня! Про меня только и осталось, что скрытная да хромая!.. Обрато хороши холерики! Сам, видали, не святей ли матери, братуля — борец!.. Одна я в этой компании хромая да ненадёжная, да шаткая! У меня под крышей барствуют... и... У Фили пили, Филю ж и поколотили?! Таких и совесть не убьёт!

Старуха опроремью прошила к двери. Повернулась.

— Ну где я хромая? Где я шаткая? Я что, на костылях шлёпаю? Или по стеночке?.. Я вам, святые борцы, ещё покажу, какая я ненадёжная!

Старуха выскочила из комнаты и так хлопнула дверью, что весь вигвам её охнул.

— Однако бабуленция со бзыком... Распенилась... — Митрофан устало подсел ко мне на койку. — Ты чего как стукнутый? Вытащил обломинго³⁶? Как сегодня экзамен, воркоток?

— На нашем фронте всё без перемен, — как можно равнодушной ответил я. — Петух.

— Ну Капитоша! Ну голова! Держи пятерик! — он больно сжал мне руку. — Если кошка проворна, то и наша, — стукнул меня в плечо, — то и наша мышь шустра! Одни пятаки из огня таскать! Три экзамена — три пятака! Осталось через последнюю ступеньку перескочить, и наш Серафимчик³⁷ в дамках! Студиозус, якорь тебя!.. Поздравляю от всей печёнки!

Не руби правду до состояния бифитекса.

Г. Малкин

Последнюю ступеньку я перескочил, но в Дамки не попал.

Как в бреду, с пересохшим горлом рыскал я по списку принятых и себя не находил. Неужели мимо?.. Неужели не взяли?.. Не-е, это сон белой кобылы. Вздор, чистейший вздор! Не может того быть! Я снова и снова, может, уже в сотый забег проскакивал по списку с начала до конца и с конца до начала, однако на своей фамилии так и не споткнулся. Может, подумалось, не хватило мне строчки с лица списка, может, я на обратной сажу? Дёрнулся я заломить низ листа, но список был под стеклом, и я, не увидев чистого стекла, лишь невольно зашиб об него пальцы. Меня нет там... Всё... Сгорел...

Эта больная экзаменационная вузня так придавила, что я даже не помню, как добрёл до своего дупла.

Баба Клава кормила во дворе кур.

Увидев меня, она громко спросила, прижалящая:

— Ты что как в беду опущенный? Невжеле на последках лебедем ожгли?

В её голосе, в лице не было притворства, и я, тронутый её участливостью, готовый расплакаться, пустился потерянно объяснять:

— Не двойку вовсе — четверку дали на последнем экзамене. Девятнадцать из двадцати наскрёб.

— А проскакной балл какой?

— Наверно, двадцать один.

Баба Клава не удержалась, фыркнула:

— Это что-то новое.

— Да нет, всё старое. Я сразу после школы... Без стажа... Нам, таким гаврилкам, выкроили всего восемь мест, а из нас девятеро сдали на круглые пятёрки. Видите, даже одного пятёрочника отсадили.

— Что деется! Что деется! Совсем мир перекувыркнулся!

С досады баба Клава разом вымахнула из корчажки всю оставшуюся мешанку себе к ногам, и возле неё куры закипели белым костром.

— И как ты, любезной, ладишься далее

жить-поживать да кой-чего наживать? Как думаешь доскакать до счастливых огней коммунизма³⁸?

— Да... Назад к матери надо заворачивать оглобельки. Только...

Я осёкся. Поднял на бабу Клаву просительные глаза.

— Ну-ну, — каким-то стылым, с чужеватинкой голосом подживила она.

— Только мне не на что заворачивать... Не дадите ли взаймы на дорогу?

Старуха ахнула и отшатнулась от меня ближе к крыльцу.

— Я погляжу, малый ты цо-опкий... — меж зубов, невнятно забормотала и уже на вскрике подпустила: — Форменный нахалец! Да через мой фиквам тыщи таких, как ты, голяков-временников промигнули! И если я, пустоголовая растрёпа, одному дай на дорожку, другому на ресторан, так мне не больше останется, как воды в ней, — сунула мне под самое лицо порожнюю дырчатую корчагу. — Тольке и достанется, что мотай, Клавуня, на кулак слёзы да беги по миру с рукой!

— Я не под большое спасибо прошу. Не сегодня-завтра мама подошёл... А если... Приеду, сам до копеечки вышлю. А тревожиться вам нечего. У вас мой паспорт... Оставляю... Пускай побудет до полной расчётности.

— Уху-у! — смертно бледнея, старуха с ядом в голосе и во взгляде низко поклонилась мне. — Да за кого ты меня примаешь? За толстодумку? Невжель у меня лоб в два шнурка? Он за меня всё вырешил! — карающе воздела палец. — Иль я какая ни суй ни пхай?! Полная никчемуха?.. Как же, дёржи карманище ширше!

И пошла, и пошла костерить. На сто лет выкатила.

— Видал! — распалённо кричала. — Паспортиной подивил! Да что мне за твою паспортёху в магазине шубу соболью на плечи намахнут? Лучше ответь, у тебя е чем сплатить за угол?

У меня похолодело в животе.

— Бумажными нет и рубля, а так... тёр да ёр... Мелочишка кой да какая брякает.

— Ну, с бряка навар не густ...

Старуха властно положила руку мне на куполок, повернула голову — в открытом окне я вонзился взглядом в висячие часы-стуколки в моей каморке. Было восемь с копейками.

И, утягивая в себя злость, заговорила глухим, ровным, каким-то отдыхающим голосом:

— Ровно двадцать три дня назад именно в это телячье время³⁹ вы пригрели ко мне. Эвот и отплатили ровнёхонько за двадцать три денёшка. Так что расчётушка уже полный вам сдан. Тика в тикю. Даже с лихвой. Ты уже девять минут тут лишних... Посверху платы... Видит боженька, я тебя не задерживаю...

Я опустил голову.

— Что ж, расценённый⁴⁰, молчишь? — полупримириительно, как показалось мне, спросила старуха.

Я молчал.

Не поднимая голоса, по инерции доругиваясь, она бросила полулениво:

— А то вырешил... Гм... За меня... Да будет как я положу!.. Э-э-э! Да чего сажать к себе на хвост приключенью? На коюшки мне с тобой судомиться⁴¹?

Старуха дёрнулась в ветхие недра своего чума.

И через минуту шлёпнула на лавку мой паспорт.

— Вот твоя бирка! Чего же тереть тут бузу? Забирай — и с богом!

— На дворе же ночь... — пробормотал я.

— Но и мой дом тожеть не вокзал! — тихо оттегнула она. — Это вокзал — общежитие для бездомовников. Это на вокзале бесплатно живи не хочю!.. Утаскивайся отсюдки, пока я не саданула тебя тёщиным язычком! — и уставилась на кактус с длинным плоским стеблем в маленьком горшке у крылечка.

Наплыла на глаза старуха. Твердея, я возразил:

— Мне рано на вокзал. Брат уехал шесть дней назад. Так он и за меня, и за себя под перёд дуриком заплатил вам по день моего последнего экзамена! То есть по сегодня! Заплатил за двоих по сегодня! Так чего ж мне не пожить, пока не придут от матери деньги?

— Дёржать тебя одного в комнате? Не дюже ли жирно будет?

— Ну брат же заплатил!

Старуха щитком выставила мясистую, гладкую руку, похожую на грубо отёсанное полено:

— То браткина печаль. С тобой не кинусь судить-рядить её. Так что тебе самая пора налаживаться на вокзалий... Куда хочешь... Чего тут брехню пилить?

Старуха снова шатнулась в сумерки хибарки и вынырнула оттуда уже с моим обшарканным фанерным чемодаником — схвачен посерединке белой бечёвкой. Она не отдала его мне, а зло выпихнула за калитку:

— С такими заворотами место за воротами! С богом! Разойдёмся миром!.. Покудушки зятька... одномандатника⁴² не кликнула...

Негнушимися, окаменелыми пальцами взял я за бечёвку чемодан и шатко побрел прочь от этого двора.

Последний поворот. Уже виден вокзал. Сделав шага три за поворот, я зачем-то обернулся и увидел: следом понуро тащились Милорд и Варсонофий. Как раз на повороте они сели. Я позвал. Ни Милорд, ни Варсонофий даже не шелохнулись. Почему они не шли дальше? Боялись вокзала? Чемодан вывалился у меня из руки; я оставил его лежать и пошёл назад к Милорду и Варсонофию. Милорд как-то виновато, тяжело подал мне лапу. Я взял её обеими руками, прижался к ней щекой и заплакал...

6

*Наши недостатки так и рвутся
к чужим достоинствам.*

Г. Малкин

Проснулся я от тычка в подбородок. Смотрю: у самого моего носа ступня в простом сером чулке. Иду глазами вверх по чулку. Чулок забегает, прячется под синюю юбку. Шаловатый продроглый сквознячок, бежавший из города в приоткрытую дверь, безуспешно заигрывал с краем свесившейся с колени юбки, будто норвил унести её в тоннель, пустой и таинственно мрачный; юбка лишь лениво, равнодушно покачивалась, вроде как отмахивалась.

Иду выше.

Девичье лицо. Глаза прикрыты от света носовым платком. Интере-есно! Со мной на одной скамейке спит валетом какая-то привлекалочка!

Я приподнялся на локоть, открыл ещё одну подробность: между нами лежал, коричнево отливая, костыль в коротком резиновом носочке.

Руки девушки вытянуты ладошками кверху. Составленные вместе, они походили на ковшик.

Казалось, она что-то подавала. Иллюзия была настолько сильна, что я поддался соблазну и заглянул в ковшик, надеясь что-нибудь диковинное увидеть в нём, но ничего не увидел, однако чему-то легко улыбнулся, легко и радостно: её ладошки пахли розами.

Я никогда не видел так близко лица спящей незнакомой девушки. И лежать ещё на одной лавке... Не слишком ли? Мне стало не по себе. Стыд поджёт меня.

Я тихонько подул проказнице в лицо.

— Э-эй... проснитесь... — шёпотом попросил я.

Потягиваясь и тонко, жалобно пристанывая, мармеладка очнулась. Наши глаза встретились.

— Вы кто? — всё так же шёпотом спросил я.

— Детям с ангиной не разрешают разговаривать, — улыбнулась она и игриво погрозила пальчиком, вставая.

— Я не с ангиной, я с вами разговариваю, — громче проговорил я, доставая из пазухи кепку.

Она удивлённо уставилась на мою кепку.

— Подкладывал, чтоб сердцу мягко было, да и чтоб не простудёхалось, — пояснил я.

Мы познакомились.

Уже через минуту я смертно завидовал Розе. Розе Лобынцева.

Роза из Челябинска. Здешний пед устроил приём вступительных в Челябинске. Розу приняли. Приехала на занятия. Счастливица... В радость въехала. Не то что некоторые...

Жить Роза будет у тётки. Правда, сама давала тётке телеграмму, но та почему-то не встретила. Поезд причерепашился поздно ночью. На такси побоялась. Вот явится день, отправится искать свою ненаглядную тётушку.

— Только странно. Четверых спросила, как доехать до Плехановской, и все четверо не знали.

— Да что ж тут знать! В трёх трамвайных остановках отсюда!

За разговорами ночь незаметно вкатилась в утро. И на первом трамвае, пустом, гулком, повёз я Розу к тётке. Передвигалась Роза трудно, как бы по-птичьи вспрыгивая, опираясь на костыль. К тому же у неё был тугой тяжелина саквояж. Так что не проводить я не мог, тем более, как я заметил, мои проводины были Розе вовсе не в тягость.

После, пожалуй, десятка моих рваных, нетерпеливых звонков за дверью загремели

цепью, не якорной, конечно, но и ненамного изящней, легче, в чём я скоро убедился, и в тесный раствор — шире дверь не отваживались открывать, держали на цепи-защёлке — опасно выглянула сырая полусонная тетёха в затрапезном куцем халатике.

— А-а, — постно обронила она, увидав Розу.

— Родненькая! — ликующе взвизгнула Роза и, боком поднырнув под цепь, скользнула в комнату, кинулась к тётке на шею.

Тётка выронила цепь. Цепь огрузло бухнулась крутой дугой в косяк и своей непомерной тяжестью как-то послушно и торопливо захлопнула передо мною дверь. Я остался один на площадке.

— Бр... бр... — басовито мычала тётка. Наконец, видимо получив возможность говорить, понесла: — Брось, дурилка плюшевая!.. Залепила рот — слова не сказать!.. Лижешься, как кошуня... Всю заслонявила! Потом, потом с поцелуями! Вещи у того скаунца из золотой роты?! Ве-е-ещи-и!

Очумело вылетевшая тётка с судорожным облегчением вздохнула, застав меня на месте. Жестом велела внести саквояж.

Я и шага полного не сделал от порога, как тётка, раскинув руки, загородила дорогу.

— Всё, всё! Дальше не надоть! Всё! Дальше поезд не идёт! — и, тыча в меня клешнятым пальцем, спросила Розу: — Это такси?.. Заплати ты этому опупышу⁴³, а то мнеть бежать...

— Тётя! — конфузясь, выкрикнула Роза и подчеркнуто уточнила: — Это не такси и даже не опупыш. Это человек! Мой знакомый!

— Оправде? А я думала, извозчик. А... Тем лучше... Не надоть и платить этому мамлюку... — И кольнула, подбавив в голос ехидства: — И пряткие нынче листоблошки. Первый день у чужом городе... Ещё не успело толком рассвети, а у ей дурдом на прогулке! Уже какой-то шапочный знакомец...

— Почему шапочный? — вытыв голосом, оборвала Роза.

Тётка поджала губы.

— Я думаю, у вас с им ничего такого не было?

Роза нервно хохотнула.

— А мне помнится, — резко бросила, — было! И такое, и развсяческое другое! К вашему сведению, да я всю ночь сегодня с ним спала! — крикнула вызывающе.

Тётка сражённо, с вопросом глянула на меня.

Я растерялся и машинально кивнул. Подтвердил.

— Ты к чему это растрепала губы? Я прям вся опрутела⁴⁴... Ка-ак... спала? — обомлело прошептала тётка.

— Вплотняк закрыв ставни! — подпустила Роза и очень серьёзно, обстоятельно показала, как именно спала. Закрыла глаза, склонила голову набок, принесла под щёку вместе сложенные ладошки.

Ну и артистка... Зачем ей этот выбрык? Покруче насолить вредине тётке?

— Ё-ё-ё-ё, — сбывчив глаза, густо засопела тётка. — С весёлого конца начинаешь, подруженька...

— А мы такие, тётя. Весёлые!

Я потихоньку притворил за собой дверь.

— Ну, к чему ты, коза необученная, на себя собираешь всякой сор? — уже примирительно, как-то упрашивающе заговорила тётка. — Ну, к чему ты мне смущеньем душу мажешь? Мы-то знаем тебя... Не стуколка⁴⁵ какая там... Иль пообиделась, что не совстрели?.. Вишь, окаянцы, пона... пронадеялись, что упоздает поезд, придёт по-людски, утром, как всегда, а он возьми да в пику прискочи по расписанью. Я ж оломедни⁴⁶ звонила на вокзал... Опоздал на полных пять часов! Так обнадеялась, что и сегодня упоздает... А он!..

Молчание.

Снова тёткино бормотание, еле различимые слова:

— А ежли и оправдешно ты совстрелась с этим опилышем⁴⁷ на вокзале, так не держи его в уме... Смертно рыдать не будем, не опойка⁴⁸ какая... Ободранистой басурманец... так бы и оплеушила!.. Захороводил нашу овечушку, распустил оперельш мокрые перья, а... Какой-нить вокзальный урка... Чи-истый охлэстыш⁴⁹!.. Я ж вижу... Хоть и осердная⁵⁰, да не без ума...

— Ой, тётя, не хвалитесь своим умом. Такой «ум человечеству дан явно по чьей-то глупости». И совсем вы в людях не разбираетесь. А ещё...

...Я побрёл вниз по лестнице, разглаживая кепку на голове.

Ну, куда же теперь? Что делать? За что братьяся? Кто и что ждёт меня в этом чужом городе?

Мне больше некуда идти, кроме вокзала, и ноги сами несут меня к нему по пробуждающемуся, по закипающему городу.

Вот и привокзальная площадь с радостными блёстками лужиц от утреннего машинного умывания. Я смотрю на сам вокзал. Не узнаю. Он совсем такой же, как вчера, и совсем не такой. Он совсем не угрюмый, не страшный, словно чудище, каким показался вчера в вечерних сумерках. Совсем наоборот. Под боковым солнечным теплом он весь золотится добротворной улыбкой и, чудится, мне навстречу в приветствии вскинул руку с кайлом каменный горновой с правого угла вокзальной крыши.

Я приподымаю кепку, без голоса с коротким поклоном здороваюсь с ним. Он ободрительно отвечает. Потом спрашивает: «Ну а как спалось у нас, парень?» Я выставил большой палец, подтвердительно кивнул: «Отлично!» «Ну и добро. На нас, бог миловал, пока ещё не жаловался ни один советский дворянин⁵¹... И помни, где бы ты ни был, у тебя всегда в горький час будет где приклонить голову. Мы, — он показал на колхозницу со снопом, стояла рядом, как и он сам, у края крыши, — мы люди каменные, с нами легче договориться, чем с живыми». «Спасибо!»

...И вот пришло утро.

Что же увидел слепой? А увидел он то, что не такая уж и злючка жизнь. Порядком понабилось в её вагон всякой дряни. Но разве не осталось в вагоне места доброте?

Я успокоенно сажусь в скверике на свою вчерашнюю скамейку. Мне как-то совестно за свои вчерашние мыслятки, что пришли на ней. Как это говорила мама... Подумаешь — жить нельзя, а раздумаешься — можно. Кажется, так... Вчера я считал, что ночь на вокзале — это конец света. Так ночь отошла, а конец света даже персонально для меня одного не наступил. Жить мо-ожно... Можно!

Бегут, бегут мимо люди. В вокзал. Из вокзала. В вокзал. Из вокзала. Мечутся, как мураши на кочке. И не поймёшь, кому куда надо. Лица у людей свежие, отдохнувшие, подобрелые. Кажется, останови любого, любой тебя и послушает, и вникнет, совет даст, как быть. Только зачем же на чужие плечи кидать мешок со своими игрушками? Свой мешок сам и тащи. Не дитяtko.

Ладно... Главное, всё разложи в душе по полочкам, оглядись, угомонись, затвердей, а потом и смотри, за какую игрушку сперва хвататься. Конечно, за самую большую. И места много занимает, и интересней с большой.

Уехать бы... Дождаться от мамушки купилок и уехать. Это в идеале. Да всякий идеал — колесо, которое, видать, на то и существует, чтоб каждый, кому не лень, совал в него палки. Ведь может крутнуться так... А вдруг мама не сможет сразу собрать? А вдруг не у кого собирать? И месяца ж нет, как снаряжала нас в дорогу, в два ряда обежала всех соседей. Опять бежать? Ну и у соседей лысенские⁵² не растут на грядке... А вдруг пронадеялась, что нам тех шелестов хватит?

Тыща всяких «а вдруг»...

Ну и возьми лучшее. Соберёт, пришлёт. Когда? Завтра? Через неделю? А эту неделю на что куковать? Правда, у меня мелочёвка есть. Да сколько её? Я боюсь считать... Когда без счёта, всё больше кажется...

Буду отстёгивать самое-самое. На прожиточный минимум. Сяду на чёрную диету. Полбуханки по утрам чёрного хлеба — и всё на день. Запить можно из колонки. Воды хоть залейся. Бесплатная... Раз в три дня разгрузочный день. Одна сайка. На три откуса. Вся дневная норма. Больше норму не ужмёшь. А желаешь кормёжку до воли, подряжайся на подёнку. На мамку надейся, да сам шевелись! Сам читал, подрабатывают студенты на разгрузке. Тебе-то разве запрещено? И должны взять, и заплатить должны по-божески. У тебя льгота, ты вокзальный житель! Советский дворянин!

Где-то за вокзалом одобрительно прокричал паровоз. Я глянул в сторону этого крика, натолкнулся на скульптуру горнового. В торжестве вскинул он свою палицу. «Молодчун! — сверху, с крыши, пророкотал горновой. — Я слышал твои мысли... В нашем дворянском собрании публика закоснелая, больше как рассуждает... Ты меня, работушка, не бойся: я тебя не трону. А ты не боишься работушку трогать. Молодчун!...»

Яни у кого не стал спрашивать, как пройти на товарную станцию, а наугад пошёл по шпалам и скоро наткнулся на арбузный состав. Перегружали в машины сразу вагонов из десяти. Словно мячи, лёгкие, ликующие, празднично летали над людской цепочкой полосатые шары. Никем не замеченный, я завожённо присох у крайнего грузовика.

— Я выбираю только у частника, — громко слышалось из вагона.

Сидевший на камне ко мне спиной высокий худой мужчина равнодушно махнул рукой. Хохотнул:

— Да что у частника выбирать? У частника все спелые. Мети взапядрядку. Не промахнёшься! Но на рынок не набегаешься... А в магазине и битые, и надзелень. Надо выбирать. Я думаю, мой метод верный! Одни стучат, определяют на звук, другие дают... по треску... Я этими признаками пользоваться не умею. Может, они и верные... Лично я выскакиваю на таких... Первый. Смотрю, чтоб рисунок на корке был чёткий. Второй. Поверхность блестящая, а не матовая. И самый главный признак третий. Я обязательно смотрю место завязи — где цвёл цветок. Это место в противоположной стороне от плети... Ещё по нему определяют, арбуз это или арбузиха... Так вот, место завязи у зелёных выпуклое. У спелых вогнутое. У переспелых сильно вогнутое к центру арбуза. И к тому же переспелик падает в весе. Возьми в руку — неестественно лёгкий. Мужчина даже вынес руку перед собой, подвигал на весу, как бы взвешивая невидимый арбуз. И тут же, давая понять, что ещё не кончил свои мысли, зовуще похлопал, снова заговорил, повысив голос, собирая, подживляя упавшее внимание слушавших.

— Да! — торопливо выкрикнул. — Ещё про хранение!.. Боится Арбузкин сквозняка, сырости, прохлады. Ему, чёрту, подавай микроклимат, схожий с условиями, в каких растёт. Не ниже двадцати двух, не выше двадцати восьми. Иначе, как и дыня, высыхает. Условия для длительной лёжки я сам подобрал, так сказать, путём народного тыка. Держал на кухне, в комнате. Закатывал под кровати — уже в октябре наши арбуши начинали преть. Как-то раз летом сунул пятерку штук в ванную, сунул и забыл. Дожили до мая!

Свеженькие, будто только сорвал. Так я и заякорил им место для жития в ванной. Сквозняка нетоньки, тепло, влажно. Не сохнут. Попервах лежат внавалку, горюшкой. К новому году остаётся один слой. Моет хозяйка пол, я аккуратно перекатываю полосатиков, вытираю, срезаю с них пыль сухой тряпочкой. Случайно плесканул на них — не беда. Вытри пол, оботри самих. Ни шиша не приключится до весны... Эх! Для матушки княгини угодны дыни, а для багюшкина пуза надо арбуза! — тут рассказчик хохотнул и съехал с камня. Половчей усаживаясь опять, ненароком обернулся, увидел меня: — А это что у нас за секундант? — удивлённо присвистнул. — Иль какой капальщик из тайного бурилхрумхрумтреста... — он не договорил, широким насмешливым жестом позвал всех полюбоваться на меня.

Цепочка вмельк взглянула, не останавливая дела. Были в цепочке крепкоплечие, рослые парни, голые до пояса. Я сказал, что я к старшему.

— Я за него, — отозвался усач в вагонном проёме.

— Я бы хотел... немного поработать у вас...

— Это уже хорошо, что немного, — усмехнулся усач. — По крайней мере, сразу честно. Не стал банковать⁵³...

И неожиданно, с силой почти по прямой швырнул мне арбуз. Руки я успел выставить, но арбуз не удержал. Расплюх и могучего губит.

— Куда тебе, вьюнок, на наш конвейер? — соболезнающе вздохнул усач, не глядя на меня, — он не убирал сторожкого бокового взгляда в сторону, откуда ждал подачи. — Увы и ах, скромно сказал товарищ монах... Худик... Одна арматура... Неухватистый, хиловатый... Слабó, малышок...

— Я перебрасывать умею, — заоправдывался я.

Шофёр — это был рассказчик — уже с подножки бросил нарочито зычно. С солью:

— Всему малый учён, только не изловчён!

— Оно и видно, что умеешь... Всё меньше твоё, дадонка⁵⁴, у тебя под ногами, — усач ткнул в белые куски разбитого арбуза. — Одним махом два зайца побивахом... По его методу, — качнулся к кабине, где шофёр уже заводил мотор, — определил спелость и заодно узнал твою профнепригодность к нашему делу. Нет реакции... Да прими я тебя — город даст дубочка без астраханских

этих чудасий! Давай так, без митинга... Кофемолить мне некогда, работа... Прижало там когда набить дуршлаг... Одно слово, желаешь, рыжик, вкушать арбузы вне очереди и вне платности, забегай! Аварийный всегда выделю из ушибленных сильно. Их у нас полный угол. А поработать... Не могу... Да и работы, собственно, осталось с гулькин нос. На оформлѐнку больше силхлопаешь. Я от души, честно, как и ты... И потом, если думаешь, что быть грузчиком твоѐ призвание, ты заблуждаешься. Мнение профессионала... Полчасика покидаешь – и ты выпал в осадок. Дошурупил? Разгружать арбузики – это не дуракаваляние. Я знаю, нужен народ на выгрузку сахара. Там кулѐчки по двести кѐгѐ. Это такое дуракаваляние... На вынос! Я думаю, тебе самому те кулѐчки не в интерес. Как глянешь, у тебя у самого те кулѐчки не вызовут прилива энтузиазма. Отлив гарантирую...

Мне опротивел его нудѐж про это дурацкое дуракаваляние. Да целуйся ты сам с теми кулѐчками! Тоже божки! Арбузная знать!

Может, уже пришѐл перевод! А я? Двину-ка к преподабной Клане...

Открыла мне калитку Светлячок и, млея от изумления, неверяще свела ладошки на груди:

– Дя-ядя... – она схватила меня за палец, напористо потащила к крыльцу.

– Папка с мамкой на работе, жадиана-говядина повезла на тачке грушки на базар. Айда те завтрикать!

– Я не хочу... Я уже завтракал.

– А я нет и не буду, – натянула Светлячок губы. – Назло жадине... За то, что она вчера... Папка с мамкой еѐ тоже не похвалили... – девочка погрозила пальцем воображаемой старухе.

В благодарной грусти погладил я Светлану по верху руки.

– Ну что, настрашали утку водой?

– Ни на вот столечко. – Девочка серьёзно показала самый вершок – подушечку мизинца и долгим тревожным взглядом уставилась на меня. – Вы по правде ели?

– Ел.

Она молча влетела в тѐмные тесные сени. Тут же выскочила уже с нарядной детской корзиночкой.

– Тогда, – защebetала взахлѐб, – возьмите это. – Она сняла с плетѐнки газету, я увидел два пакета. – Вот, – раскрыла один, – пирожки. Мамка утром пекла. Я сама положила, ещѐ горячие. А издѐсь, – развернула другой, – грушки. Сперва хотела стащить из мешка у жадеьны... Раздумала. Сама улезла на дерево, надѐргала, какие на меня смотрели...

В еѐ голосе, во взоре было столько твѐрдой, неувалимой мольбы, что, казалось, только откажи – непременно пустит росу, и я, переломив себя, выловил из пакета две груши, что всѐ ещѐ жили на одной веточке:

– Возьму сестричек. Сестричек нельзя различать.

Девочка засияла, брызнула жаркой радостью сквозь близко пробившиеся слѐзы.

Я сказал, что пришѐл узнать, нет ли мне перевода. Девочка торопливо потыкала пальчиком в дырочки почтового ящика – висел на калитке со стороны двора – и в печали отрицательно покачала головой.

– Каждое утро ровно в девять я буду приходить, покуда твоя лѐгкая рука не подаст мне перевод. А сейчас мне пора.

Я вышел на улицу. Светлячок – следом. Не даѐт уходить. Ластится, вѐтается и секунды не постоит, будто зуд у неѐ в ногах.

– А можно я с вами?

– Боевой пост покинуть? Одну ж оставили на весь дворец. Сиди – знай, стереги.

– А-а... В твоей комнатке спит новый дя дечка. Пускай и стерегѐт.

– Сонный много настережѐт?... Мне некогда. Я опаздываю и так.

Я мягко подтолкнул кроху к калитке и пошѐл, стараясь не оглянуться.

8

*Ветер! Дударь он и строгаль,
И хват, и мот, и он же сатана...*

Егор Исаев

Никуда я не опаздывал. Никуда не спешил. Так зачем тогда врал девчоничке? А разве иначе отлепишь еѐ?

Никуда не торопясь, шатался я из улочки в

улочку, что полого падали к реке. Мне нравилось кружить по незнакомым тихим местам... Часа два выбродил по кривым немощёным дорожкам, изрядно уходил ноги. Уж верно, за голову и ногам плохо.

Припал я в тенёчке на чужой лавке и задумался. Сейчас душа на покое. Странно... А к ночи снова беги в дворянское собрание? А не попробовать ли тут поискать койку? До перевода? А так чего без пути слоняться?

И стал я спрашивать, стал навязываться в жильцы. На удивление, во многих домах берут, только все как сговорились: платёж под перёд. Одно и слышишь: «Под перёд! Под перёд!»

Разозлился я, в одном дворе и бухни:

— Это ж несправедливо! На заводе вам платят наперёд? Или та же картошка родит вам до посадки?

Мужик сострадательно покивал:

— Ну-у... Сразу видать, делали тебя наспех, а сделали на смех... Таких блинохватов и за двойную цену не дёржим! — и захлопнул калитку.

В соседнем дворе молодой бас торжественно пел:

— Сидел Ермак, объятый дамой,
На диком бреге Иртыша!..

Не найду угол, так хоть, может, увижу живого Ермака с его дамой, и я постучался в соседнюю калитку.

Мне откинул засов неунывака-толстун. Примерно моих лет, в кости поразбежистой, ростом удачливей. Мне он глянулся с первого глаза. Возле таких людей всегда хорошо. Ты ещё и рта не раскрыл, а он уже душу нараспашку, цветёт улыбкой шире ворот.

— Проходи. Чеши ко мне фокстротом! У нас без чинов. Не бойси бобика, хозяин на цепи! — грохает себя в грудь.

— У вас не сдают угол?

Он степенно, державно обвёл загорелой твёрдой рукой — а был он бос, в майке, в синем трико — богатую хоромину, сухую крепость в глубине великолепного сада, довольно хмыкнул:

— Таковские офигительные райские уголки, мой ненаглядик, без боя не сдают. Особенно, ёксель-моксель, таким дегенералам, как ты...

Я потускнел. Поискал глазами калитку. Малый, плутовато посмеиваясь, жёстко взял меня

под локоть, повёл в беседку. Сел на скамейку, усадил меня рядом.

— Сиди, дух, и спокойно, — указал на полное спелой вишни решето на столике, — занимайся делом. У нас без дела нельзя... Ты чего жмуришься, как майский сифилисок? Ты кончай думать. Тебе сегодня всё равно боль никуда не катить колёса, искать нечего. Ты уже набрёл, что надобится. Я подмогу... Положись на меня, обижен не будешь! Посиди... А то один да один весь день... Скучища... Депресняк придавил... Понимаешь, вчера отмечали именины соседского кошенёнка. До того наотмечался, до того нагондурасился, что сегодня в работу не сгодился. Кидали лобастого⁵⁵ за лобастым, кидали, кидали, кидали... Столько литроградусов на каждый героический хохотальник⁵⁶ пало — ни в одной сказке сказать, ни пером подписать!.. Хор-р-рошененько поиграли в литрбол. Ты не увлекаешься?

— Жирный прочерк.

— Молодчун, пионерэри! При поступлении в рай учтётся. А я грешноват, маненько балуюсь литрболом... А вчера, слышь, так наигрались, что опупело... критицки уставились с соседом друг в дружку, насмотреться не можем. Дурак с дураком сходил, друг на друга дивился! Воззираем друг на дружку и молчим. Сказать нечего-с... В красный тупик заехали. Имениник только один воркочет, об ноги наши под столом трётся. И возговорил я тогда тост про великое молчание. Всякое, говорю, бывает в жизни, иногда и в компании наступает тишина. Сидят люди, смотрят друг на друга, глазами вращают, а сказать ничего не могут. Но не будем бояться молчания, оно — невидимая связующая нить, взаимное проникновение наших душ. Так выпьем же за молчаливое слияние света в наших сердцах!.. И игра полилась дальше. Кончилось тем, что я не пожелал отбывать от соседа через ширинку⁵⁷. «Далеко! — кричу. — Мы пойдём совсемуше другим путём! — по-вождарски ору. — Нехоженым!.. Неезженым!.. Небегаемым!.. Неписаным!.. Некаканым!..» Прошил одним тычком плеча локалку⁵⁸ в заборе, и я уже у себя в поместье. Вот так устроили с соседом праздничек кошенёнку. Посиди. Дай потрепаться. Дай пары спустить... У нас с тобой родство... Ещё два месячишка назад, как ты сейчас, вломился я в эту царёву дачу, спросил твои-

ми словами. Мне, как видишь, в этой крепости сдали на пробу уголочек, а тебе не сдадут. Не только тут, а во всем честном секторе. Даю справку... Я частный наш сектор навеличиваю честным. Так вот, во всём честном секторе!

– Почему?

– Фу-фу!.. – парень глянул на меня вприщур.
– Тонкая штучка... Помолчи, заверни крантик. Всё поясню... Оттопырь локаторы, ушки с макушки, и зорко слушай. Тут в каждом теремке понапихано молодых цыпок, как поганок на лужайке в урожайный год. Ты сулишь им копейки за койку, а они в горячке решают, можно ли этому незваному варягу сунуть под метёлочку всё, что добыли за всю честную жизнь. Секёшь? Они ж смотрят на тебя не как на квартиранта, а как на надёжного, на верного же-ни-ха, на од-но-ман-дат-ни-ка для своей угрявой Машки или там Глашки! Наконец, как на будущего хозяйку всего имения! Все-е-его! Нет, да ты секёшь? Ну? Ра-азный ведь угол подъезда к проблеме. У них квартирант – это вид, видимость, а суть – жених. А с твоими данными, мурик, лучше не соваться. Тебе, бухенвальдский крепыш, дешевле выпасть из игры. Ты не обижайся, я от чистоты сердца, в качестве совета... Не-е, ты на сегодняшний день не сватач!

– Да не собираюсь я жениться!

– А чего ж, братила, в честном секторе пасёшься? Не-ет! Тут закон: угол получает тот, кто подходит как жених. Есть даже негласный стандарт жениха для Его Величества честного сектора. Даю совет пока бесплатно... Чтоб тебе приблизиться к стандарту, надо вытянуть тебя слегка... Надо подрасти на целую голову, надо попросторней размахнуться, разъехаться в плечах, чтоб, извиняюсь, грудинка была метр на метр, как у ломовой лошадки. Чтоб кулачки не мень пудовой гирьки и не мягче. Затерялся где молоток, а тебе гвоздь надобится всадить. Ты а-ах! пустым кулачком с махотку – гвоздичек в испуге на аршин вбежал в стенку. Это ж честный сектор! Тут только лошадка и вывезет, и хорошо, если эта лошадка будет с уклоном в слоновью масть. Это в коммунальном бункерочке всё хозяйство может состоять из сухого цветка в горшке да из стаи моли в шкафу. А ту-ут!.. Этакущая картинка! – снова показал он на дом-музей в глубине сада. – Обиходь такую чуду-роскошь. Тута дуршлять⁵⁹ не моги!

Тут надо быть бешеным до работы! Шизиком! Вот они и выбирают женишка посправней, потельней... как сжатый, слепленный из теста. Мускуланта подавай, как вон я! Чтоб был битюжок такой. Вол! Им просто битка⁶⁰ ма-ало... Вот ты ходил, все тебе пели самурайскую песенку с припевом: плата наперёд, плата наперёд. А я ходил... Мне про плату не заикались. Я сам обежал десятка три дворов, всё выбирал, где и музейчик покартинней, и невеста поспосней, чтоб этакий аленький цветочек бросался в глаза... Не позывает к той лохнезии, про которую говорят: в окно глянет – конь прынет, на улицу выйдет – собаки три дня лают без продыху, а одна пригляделась, так сбесилась... Надоело в общаге закармливать племенных клопов на убой, и подался я в квартиранты. Сразу и жону, и именище хапнул... Правда, к моей сиделке⁶¹ есть вопросец... Широкоформатной не назовёшь... Худа, как усепенская селёдка... Больно костлявая манилка... Забойной, пухлявой не назовёшь. Ну да... Из костлявой рыбы уха сладка... А балкончик⁶²!.. Ах и ах! Не груди – бравые часовые! сторожевая застава! Потому как, братове, это не груди – двустволка! Зато мордарий... Таким мордарием можно напугать не только ребёнка, но и таракана. Был случай. Один таракан пригляделся и скоропостижно рассыпался на атомы. Аут! А говорят, не все тараканы видят. А ну если б ещё и все видели? Как бы они и жили-то у нас во дворце?.. Конечно, я попрочней таракана... Терплю эти ебалканы... Одначе на том мордарии и глаз... Хоть соломой затыкай... Там бельмо такое сидит!.. А может, ближе к лучшему, не всё моё будет видеть? А?.. Опять же хатулечка, – кивок на дом, – ни в сказке сказать, ни шлангом описать... Скоро экскурсия в зигзагс. На предмет расписки. Тогда я здесь, будьте покойнички, обеими ножками... Осенью в армию. Хорошо уходить, когда знаешь, к чему возвращаться... Шнурки⁶³ у неё подержанные, изрядно подтоптаны годами. Готовые руины. Моя у них одна. Улавливаешь, кто я? Во-и-тель! Хозяин дворца!

Малый встал со скамейки, приосанился и, важно пересев в плетёное кресло-качалку, закинул ногу на ногу. Дёрнулся взад-вперёд; кресло, сухо поскрипывая, маятно заходило под ним. С минуту он молчал, собирая, напуская на себя солидность, чинность.

— Хозяин что чирей: где захотел, там и сел. Всяк хозяин в своём доме большой... А ты что, поступал куда и у тебя на вступительских выскочил перебор в баллах?

— Выскочил... — нехотя признался я.

— У меня то же... — сказал малый. — Мои хотели запихнуть меня в морковкину академию⁶⁴. А мне ни одна академия не нужна. Вплотняжку до самой академии живописи и воняния. Я всю молодую пору летать хотел. Была такая идея-фикс. Разбежался даже забуриться в лётное. Да как-то вничью услышал, что жизнь пилота прекрасна, как ножка балерины, и коротка, как её юбка. Услышал, и у моей мечты поотвалились крылышки. Скукожился героика. Думаю, лучше плохо идти, чем хорошо лететь. И переиграл я свои планы, в прошлом году завафлил в университет. Послушай мою байку, как я стучался в университетские врата рая и что из этого стукотка слепилось. Умереть не встать!.. Ну, хорошо, плохо, а лез помалу, на троечках доштался до устной математики. Вхожу. Здороваюсь. Беру. Читаю. Не нравится. Здороваюсь с билетом. И прощаюсь. Назад кладу. Молчаком. Будто на языке варежка надета. А экзаменаторша тире экзакурторша, длинная, отошала, — тоскливая жердь в очках — ручками ах! Не торопитесь, не торопитесь! Скоро, мол, делают, так слепо выходит. Подумайте!.. Ладно... Мягкое слово кости ломит. Вежливо беру билет назад. Руки в боки, глаза в потолок. Думаю. Культурно думаю думу без шума. А она на меня нет-нет да и так печально зыркнет. А я думаю. Не перестаю. Принципиально. Не по билету. По билету думай не думай, конец ясен. Чего нету, того не пощупаешь. Я думаю, как ни о чём не думать. Раз просили не спешить, я не спешу. Вежливый. Всё думаю. Думаю про то, что мне, тупаку, не страшно сойти с ума. Что с моим умищем только в горохе сидеть... Я б, шлепок майонезный, ещё чего подумал. Только тут мне велено отвечать. Я на красоту, без звука кладу на стол билет. Нет, ей мало! Она с вопросцами с разными. Я и на это молчу. Нужны они мне как кенгуру авоська! Ни на какую провокацию не поддаюсь. Мне всё по барабану! Тогда она стук, стук, стук по доске мелком. «Прочтите, пожалуйста, что я написала». Глянул я — чувствую, родные волосики на умной головке круто зашевелились. Ху?! Это ж почти мат

четверной! До полного не хватает одной буквы, похожей на перевёрнутый парашютный куполок. Я её всегда прибавлял. А по науке, выходит, она не нужна, им вдосытку хватает усечённого мата. Бывало, на заборе писнёшь эту непотребщину да дёру. Никто не видь! А тут сама написала, а я вслух принародно читай в университетских стенах. Вот так вузня! Веселенькое разделенье труда! Чему только и учат?! Ну, делать нечего, я подневольный. Велят, нужно читать. Я сильно боролся с собой, чтоб не сказать с прибавлением. Вспотел, пока прочитал, но бог миловал, без добавки. Прочитал так: два ху и два вверху. Даже жердь тоскливая прыснула в синеватый кулачок. А мелкий вступительный народишко — готовился с билетами за столами — так те абитурики вообще под столы со смеху чуть не поукатывались. Не понимаю. Что тут смешного? Сушёная вобла и говорит одному за ближним столом: прочтите. Я даже разочаровался. Совсем не по-русски прозвучало: два икс, игрек в квадрате. Вот те новости в ботфортах! Там же ясно написаны две простые наши буквы хэ и у. Так этот хохмарь хэ и у похерил, а откуда-то выцарапал целые слова *икс*, *игрек*. Прошу прощения, я таких словесов и не слыхивал. Да... Оказалась она культурная, в демократию поиграла со мной. Сколько, говорит, вам поставить за ваш ответ? Ставьте, говорю, сколько не жалко. Оказалось, двойки ей мне не жалко. Щедрая душа! На том и села моя экзаменационная вузня. Тихо, без кипиша... Так я и не вскочил в университетский поезд... Крантец!.. Гегемонить⁶⁵ не побежал. Нафига генсеку чирик?

— Упа-а! — дивился я. — Так ты у нас генсек-с?

— Генсе-екс! Ещё какой генсекшище! А чего мелочиться? Перекувыркнулся я на сантехника. В училище, хвала богу, преподаватели скромней, усечённый мат на доске не пишут, за свою похабщину двоек не лепят... Вот я и подкатил тележку к главному. Манит коронно зацепиться в городе, топай в мою ремеслуху.

Я вытаращился:

— Что я забыл там?

— А! Так ты ещё перебираешь!.. — пожурил меня малый. — Так знай-ведай, наш кембридж — конторка престижная. Не какая тебе там манация⁶⁶... Сантехник — это тебе не какой-нибудь там токаришка. «Всё течёт, а сан-

техников не хватает». Работёнка непыльная, даже иногда слегка увлажнённая, с мокрецей, потому как амурки крутишь с бачками, с крантами, с батискафами⁶⁷, с ваннами. Всем известно, что «сантехник каждый день идёт на мокрое дело». И по совместительству крупнодежное. Обходишь квартиры. Собираешь... За год можно на лобастенького⁶⁸ нагрести. Шокин-блю! Отлично! Можно и на такую картиночку нарыть гульденов, — кивает на дом за высокими яблонями, рясно, до сплошной красноты обсыпанными яблоками с краснобрызгом.

— Я картины не коллекционирую... — заметил я.

— И я говорю так, под интерес. На этот год, знаю, мест уже тую-тую. Но лично я могу тебе уважить. Своё, учти, отдаю.

— Ка-ак это?

— А просто... От большого сердца... Тебе к чему училище без общего жития? Ни к чему. Вот я под перёд и подумай про тебя... Передислоцировался я сюда, место своё в общаге не сдал. Официально числюсь там... Взял на гецилло⁶⁹? Тут много ума не надо. Два пальца — лоб, два пальца — чёлка... Вполняк хватит... Так вот, подойди на пальчиках к директорию. К Коржову...

Я ужася.

— Что, духарик, труханул? Не бойсь! Не ссы в компот, там повар ноги моет! Подойди к самому к Коржу и скажи, что ты от меня, от пана Хваталина. Так и так, есть мнение, рекомендовано взять на его место. Не на его, директорское, а на моё, хваталинское. Смотри не перепутай. Не споткнись. А то язычок споткнётся, а головке достанется. Он у нас ого-онь... А так дядечка с понятием. Сам был сантехником. А вишь, куда выпрыгнул? С заднего колеса взлез на небеса! Делове-ец! «Из грязи — в князи. Вот это связи!» Говорят, он сочинил диссертацию про «действие энергии солнечных лучей на бараньи яйца». Осталось защитить... Бу спок, этот альдебаран защитит... В партии окопался... Где-то в каком-то стукбюро бубулькает... У него «на ладонях все линии — партийные»! Постарайся понравиться. Не будь дурогоном. Не спрашивай чего лишку. Не возникай не по теме. Не наживи себе геморрой. Понравишься, этот главнюк те из печёного яйца живого цыплёнка высидит, с

камня лыка надерёт. Обязательно возьмёт, место моё отдаст. Ему ж самому интересно поболь учащихся. Конторелла наша в Утюжке. Это самое крупное здание в городе, похоже на уют коммунизма⁷⁰. Вход к Коржу от рынка... Ну, сидя на печи генералищем не станешь. Genug⁷¹ трепаться. Давай в Утюжок! Столби! Чеши фокстротом!

9

Я не червонец, чтобы всем нравиться.

Иван Бунин

По пути к Коржову меня подогревали такие размышлизмы. На кого ни учись, где потом когда ни работай — всё это ой как призрачно, ой как зыбко да далеко, как-то нереально. А вот вечер уже близко. Новая ночь на вокзале вполне реальна. Так чего же сушить голову над завтрашним обедом, если ты сегодня не обедал и наверняка не будешь ужинать? Чего кидаться в небо за журавлём? И с чего отпихивать синичку на блюдечке с каёмочкой? Главно, втиснуться хоть одной ножкой в общежитие. А там, как говорит мама, толкач муку покажет.

Коржов размыто послушал меня, велел зайти через два дня. Я так и опал духом. Оле-е, это уже хуже. А я думал, уже сегодня буду спать-королевствовать в общежитии.

Перетёрся кое-как на вокзальных перинах, строго в сказанный час подворачиваю к Коржову. У Коржова опять новостёнка. Загляни завтра. А завтра этот хорь шлёт на послезавтра.

Ну нет! Край-то будет? Это куколку сколь хочешь дергай за ниточку да потешайся, а я не куколка, не на забаву бегаю к тебе кланяться. Стригану-ка я в молодёжную газету!

Это только легко сказать — в газету.

А когда я подлетел на Революции к узкому и поднебесно вытянутому дому, похожему на поставленный на попа пенал, я струсил. Целую вечность торчал у двери и боялся войти.

Тем конфузней всё было, что эта дверь вела не только в редакцию. Редакция была на самом верхнем, на пятом, этаже, и весь этот дом был забит самыми разными разностями вплоть до огромного книжного магазина, который зани-

мал весь первый этаж. Сразу за входной дверью теснился мрачноватый вестибюль, откуда две двери по бокам вели в магазин, а третья стеклянная дверь вела на серую холодную каменную лестницу, что взлетала вверх.

Я с опаской тарасился на входную дверь и никак не мог понять той беззаботности, с какой люди входили и выходили. Как можно, казнил-ся я, так просто, так беспечно, так вот внарошке входить в редакцию?

Уже три года писал я из Насакирали, из своего совхоза, где мы жили, писал в Тбилиси, в «Молодой сталинец». Какие-то мои заметки печатали, выворачивая до неузнаваемости. В них я чаще узнавал лишь свою фамилию. Фамилию, правда, не правили, и она всегда печаталась одинаково, как стоит у меня в паспорте. Уже три года был я связан с газетой. За всё это время ни разу не был ни в одной редакции, не видел ни одного правдашного журналиста.

И вот... Я не скажу, что у меня тряслись поджилки, но что холодно было в животе, так это было. У меня всегда выстуживается в животе, когда я чего-то побаиваюсь. И в горле высыхает.

Я затравленно кружил у крылечка перед входом и не мог заставить себя перемахнуть эти три каменные, углаженные до глянца, ступеньки, до того зализанные, зацелованные подошвами, что посредине были стёрты до костей.

По этим ступенькам каждый день ходят они. Они совсем не похожи ни на меня, ни на кого другого в этой толпе. Они совсем из особого теста, и очень ли кинутся они лезть в мою сшибку с Коржовым?

Кто-то, наверное, нечаянно задел меня, ненароком толкнул в людской поток, туго льющийся в широкие двери. Меня внесло, втёрло в вестибюль. В вестибюле поток рвался на три ручья, здесь было просторней, свободней. Примятый к стенке, я обстоятельно огляделся и сделал для себя открытие, что валит народ в общем к книгам в магазин, в боковые двери, а в эту дверь, в дверь прямо и наверх, никто и не толкается.

Неизъяснимой растерянностью опажнуло меня. Вот так да-а... Сюда так-таки никто? Я один?.. Иди кто, я б увязался за компанию. А так... В груди взвенивает, тянет, сосёт, и я на всякий случай выкруживаю назад на улицу.

Поторчав на гомонливом тротуаре, я уже уве-

ренной вхожу снова в вестибюль и начинаю следить за своей дверью. Вот кто-то прожёт в неё. Я было дёрнулся за ним, но он скоро пропал в повороте лестницы, и я, увидев, что впереди уже никого нет, остановился.

Промигнуло человека три мимо, лишь потом я насмелился и вприбег подрал себе наверх, боясь оглянуться: иначе не будет пути. На одном вдохе взлетел я на пятый этаж.

Редакция занимала половину этажа. Дверь с лестничного марша в правую руку. С минуту помялся я перед нею. Приоткрыл... Пусто. Разгонистый, долгий коридор. Двери на обе руки. Куда идти? Я немного подумал и тихонько постучал, верней, поскрёбся ногтем в первую справа дверь.

— Входите, пожалуйста, — позвал мягкий голос.

Я вошёл.

Старушка в сером тёплом платке на плечах портновскими ножницами надрезала по краю конверты. Перед ней на размашистом столе бугрились два вороха писем. В одном — нераспечатанные, в другом — уже вскрытые. К вскрытым письмам подколоты редакционные бланки в ладонку величиной. На бланках что-то написано от руки. Крупно, глазасто.

Добрыми, участливыми глазами старушка показала на стул сбоку стола.

— Присаживайтесь. Рассказывайте, с чем пришли, — и отложила ножницы, устало выпрямила спину.

Только я разбежался, старушка ласково положила мне руку на плечо и, извинившись, сказала:

— Я отведу вас... Этим у нас занимается Саша Штанько...

Она взяла меня за локоть, второпи повела по коридору.

Была она одно внимание, отчего показалась мне почему-то больничной нянечкой, а я вдруг почувствовал себя больным, которому без её помощи ни за что не дойти до своей палаты.

Дверь в крайнюю комнату, куда мы шли, была нарастопашку. Уже с порога старушка в спехе посыпала словами, обращаясь к парню в очках:

— Саша, по твоей части. У товарища беда. Займись сейчас.

— Конечно, конечно, Анастасия Ивановна!

— готовно ответил парень, кладя ручку на недописанный лист. Его край пробовал и не мог поднять плотно тѣкший в приоткрытое окно свежий ветерок.

Слово «беда», произнесённое старушкой, впервые ясно обозначило лично для меня всё то, что случилось со мной. Мне стало как-то жалко самого себя.

Я заговорил срывисто, невпопад, и чем дольше говорил, тем всё чётче видел себя маленьким, совсем ребёнком, всеми обиженного, всеми отвергнутого, загнанного в угол. Я глянул в пустой угол и совсем ясно увидел мальчика на коленях. Конопатый мальчик, я в детстве, зажав лицо руками, плакал навзрыд.

Я вскрикнул и тоже заплакал.

— Слезы... не оружие... — потерянно прогудел парень, краснея и подсаживая повыше на нос очки. — Успокойтесь... Всё вырлим... Всё выведем на лад...

Я ничего не мог с собой поделаться. Слезы сами собой бежали и бежали. Наконец я притих, стыдно отвёл лицо в сторону.

— А теперь ногу в стремя! — ободрительно кинул Александр, разом подталкивая к себе телефон, а ко мне — стопку бумаги. — Распишите, как всё было, а я пока выдам параллельно звоночек этому Коржову.

Несчастный Коржов! Каких только уничижительных чинов и званий не удостоился он от моего воинственного спасителя. И чинуша. И волкитчик. И бюрократ. И бездушный...

Я смотрел на Александра и смелел его смелостью. Рыцарь без страха и попрака! Почти мне сверстник, может, года на три всего обогнал, ну чуть похарчистой раздвинулся в плечах, а ты смотри, ничего и никого, ни одной холеры не боится!

«Вот только такие орёлики имеют право работать в редакции и — работают! — воспарил я мыслью. — Они не толпа! Не-ет!»

И действительно, я лишь двоих видел в редакции, Александра и старушку из отдела писем, и оба в очках. У нас вон на весь совхоз один директор носил очки, больше никто, и не потому, наверно, что не надобны, а потому, что не доросли до очков. У совхозных стариков жило такое понятие, что очки — это огромная культура, особое место в мире, где-то наверху...

Ну, старушка — ладно. Зато Александр, Александр! Почти совсем мне ровня, а в очках! Похоже, я слишком восторженно пялился ему в рот, отчего он, положив трубку, кисло глянул на меня. Однако гордовато похвастался:

— До вздрога выстирал этого темнилу Коржика на все бока. Под конец стал как шёлковый. Засуетился, как змея на кочке... Говорит, пускай приходит сегодня же. Думаю, всё выскочит на путь. Давайте достругивайте и живо-два к этому Коржику!

Я почувствовал себя на десятом небе. Кое-как дострочил, торопливо сунул Александру свой лист. Я думал, Александр удвинет его в сторону. А он прочитал тут же. Уважительно подпустил:

— А знаете, у вас есть перо. Так что пишите нам. Это на будущее. И... Конечно, это не моё дело... Скажите, что вас гонит в сантехники?

— Призвание! — дурашливо хохотнул я.

— Тукс-тукс... Если что, где вас искать?

Александр глянул в конец моей писанины, велел указать адрес. Я весело чиркнул первое, что легло на ум. Александр в замешательстве поправил очки:

— Это адрес госбанка.

Слышу, стыд плеснул мне краской в лицо. Не ври! И я покаянно вывалил всю правду про свои вокзальные апартаменты.

— Вот что, — мягко сказал Александр. — Если у Коржова паче чаяния — мимо, звони... Здесь не застанешь — домой. Телефоны сюда и домой, адрес домашний я тебе сейчас запишу... Я предупрежу своих... Переспать, поесть найдётся на первых порах, а там, как говорил слепой, побачим.

Прощались мы мало не друзьями. Александр сказал, чтоб я называл его просто Сашей, чтоб не выкал и взял с меня честное слово, что я в любом случае не пропаду с его горизонта.

10

Я до ночи продежурил под коржовской дверью, но самого Коржова так и не увидел. Противоречивые догадки мяли меня. Неужели Корж сказал приходить, а сам улизнул? А может, они с «просто Сашей» уговорились подурочить меня? Пускай-де этот сопляйка поскачет между нами, много ли он из нас масла набьёт? Заговор?

Да навряд ли... И директор всё-таки директор, и Александру чего со мной комедию строить? Скорей всего, гляди, Коржова по-срочному куда дёрнули... Надо ждать до победного.

Уже вечер. Всё закрылось. Я от Утюжка — никуда. А вдруг Коржов всё-таки приживится? Не будет же он по вызову где до утра? Вспомнит, что кому-то что-то обещал, вспомнит, что его ждут, и наживится. А я уйди? Не-ет, надо ждать. Надо до победы ждать! Что мне ещё делать? Куда спешить? На вокзал?

На вокзал я уцеливался в самый крайний момент. Часов в двенадцать поплинтую. На сон. А так чего мозолить глаза вокзальной ментовне?

Ночь чёрно растекалась по городу. Реже пробегали, шурша шинами, усталые троллейбусы; как днём, не гудела растравленным пчелиным роем улица. Когда-никогда промигнёт одинокая запоздавшая фигурка, и тихо.

По полоске между тучами резво просквозил толстощёкий месяц и упал за крышу. С тоски я ищу месяц, но его не видно за Утюжком. В расщелине улицы тускло тлели редкие звёзды... Скоро пропадают и звёзды; мелко, как бы на пробу, внезапно посыпал дождь.

Делать нечего, надо убираться...

Резвея, тугие капли всё сильней остукивали меня. Вдруг накатило, дождь ударил стеной, обвалом, полил как из ковша. Может, переждать в подъезде?

Мне вспомнилось, как я век проторчал в Утюжке напрасно, опало подумал, что мне этого Коржова не дожждаться... Мне теперь всё равно...

Я брёл по пустынному ночному городу под тусклыми, мяклыми огнями, не разбирая ни луж, ни пенистых ручьёв. Скоро всё на мне: и пиджак, и рубашка, и брюки сделались мокрей воды. Холод обнял меня, подживил, стегнул, я и дай тёку, для согрева выбрасывая руки в стороны.

Уже у вокзала, в самом тёмном прогоне, уго-раздило меня набежать на арбузную корку. Заваливаясь, садясь на спину, в диком отчаянии хватаясь за воздух, словчил-таки не упасть на спину, а, спружинив, опустился на корточки. При этом левое колено неестественно резко дёрнулось вперёд со страшным хрустом, будто во всю силу тряхнули с подкруткой огромной

жестяной банкой, заполненной камнями. Острая боль прожгла всего насквозь, и я, потеряв власть над собой, мешком с корточек вальнулесь ничком в грязь.

Хоть Хваталин и говорил, нога спотыкается, а голове достаётся, но на этот раз крепко досталось именно ноге. Придерживая зашибленное колено, боком спускаюсь к себе вниз и вижу: на моей лавке, напротив окошка камеры хранения, сидит Роза.

Я попятился назад по лестнице, но Роза уже увидела меня, окликнула. Ё-моё, не уйти! Деваться некуда, и я, припадая, поковылял к ней. Однако чем ниже спускался я с лестницы, тем всё заметней вытягивалось её лицо, наливалось тревогой.

— Почему у вас щека и левое плечо в грязи? — недоуменно привстала она навстречу.

— Потому что на дворе грязь, — буркнул я.

Не останавливаясь возле неё, прошёл, стараясь не хромать, в туалет. Застирал верх пиджака, умылся. Собрал ладошкой капли с лица, вышел.

— Не узнаете? — Роза бережно погладила скамейку, пересела с середины к краю, давая мне место. — Наша скамеюшка...

Я хмыкнул. Мне ли не узнать? Я уже пять ночей протолокся на этой скамейке. Но сейчас, с притворным безразличием оглядев скамейку, покачал головой.

— Не узнаю.

— Коротуха у вас память... — Роза положила руки на колени так, что часы-стуканцы у неё на запястье были хорошо видны. — В моём распоряжении всего пять минут...

— А на шестой минуте мадам тётя уже выпшет стоп? Не пустит домой?

— Не перебивайте... Я тогда дала вам её телефон. Не звоните, пожалуйста, по нему.

— Да уж пожалуйста... К вашему сведению, я и без «пожалуйста» ни разу не звонил.

— Это уже лучше. Я ушла от оболдуйской⁷² тётки... Хвалится, что она большая обиходница⁷³, а по мне... обвейки⁷⁴ и есть обвейки... Не хватало, чтоб ещё шпионили за мной. Мне дали койку в институтском общежитии. У нас отбой в... — взгляд на часы. — Сейчас без четверти. Пока доберёшься... Я три дня приезжала сюда.

Ба-а! Да не шпионит ли она сама?

— Извините! — огрызнулся я. — А чего это вы

именно здесь искали меня? Я что, давал вам именно этот адрес? — жёстко подолбил я костями пальцев скамейку.

— Вы никакого не давали... Обещались звонить... Тётя всешеньки уши опела, что вы, простите, вокзальный налётчик. Хвалилась, что чутьё у неё кощее... Я почти и поверь... Вокзал... единственная зацепка... Только, — горячечно возразила она себе, — это лишь... Всё спуталось... Не похоже... Не верю, что вы, отметённые университетом, в обиде кинулись в объятия какой-то худой компашки...

— Почему же какой-то? У меня одна компания, — со злостью ткнул я в неё, потом в себя, — и судить я пока не могу, хороша ли она, эта наша компания, дурна ли...

— По вас не видно, — взхлёб ломила она своё, — что вокзал — предел ваших мечтаний. И никакая не компания... Мне кажется, всё куда прозаичней. У вас, может, просто нету денег на обратную дорогу? И вообще... Что вы сегодня ели?

— О! — приосанился я, сжимаясь одновременно внутренне, заглушая в себе голодное погромыживание. — Сегодня у меня был Его Сиятельство разгрузочный денек! Одна сайка на три откуса и потом вода, вода, вода из-под колонки у булочной напротив входа в детский скверик... Хоть утопись!

— Хватит ехать на небо тайгой⁷⁵! — зыркнула на меня Роза. — Странная... Оригинальная диета... То-то, слышу, простите за откровенность, как в вас кишка кишке свирепо читает мораль... Как у артиллериста⁷⁶... А завтра что будете есть?

— Что бог пошлёт, — отшутился я.

— Ни шиша он не пошлёт! — убеждённо отчеканила Роза.

По тону я сразу понял, что в Бога она не верит. Мне показалось, Роза догадалась о моём выигрышном мнении о ней, и она ещё твёрже повторила:

— Ничегошеньки боженька не подаст. Не надейтесь... Вы не крыловская Ворона... Это в баснях... — Роза осеклась.

Она как-то оценочно окинула меня вопросительным взглядом и, подумав, осмелев от своей мысли, с восторженно-напускной бравадой бросила:

— А послушайте! А чего б вам да не взять у меня тугриков?

Я вылупил шары на неё. Фыркнув, она отодвинулась, не забыла спросить:

— Вы чего так смотрите?

— Да вот, думаю, дай получше рассмотрю дочу самого куркуля Рокфеллера. Раньше, каюсь, не доводилось встречать. Да знайте, у меня куры своих денег не клюют!

— Куры ни своих, ни чужих денег не клюют. Не пшено.

— И в частности... Вы видите, где и с кем встречаетесь? Подбереглись бы.

— А зачем?

— Ну, мало ли что может быть на уме у такого типа, как я?

Она озоровато улыбнулась:

— Может, у меня на уме то же самое сидит! — и тут же нахмурила брови. — Это я так, для общего развития. Не подумайте чего... А то ваш брат велик на фантазию... Это вступление. А основная часть такая... Я не люблю шептать в подушку. Я вся настезь. В ту ночь до смерточки я устала. Подпирала, подпирала вокзальные стеночки... негде прикорнуть... А тут вижу, вы маломерочный, возле вас на лавке просторно, я и привалилась. Не чинясь... Я и сейчас безо всяких реверансов, безо всяких извинений-мерсиканий... С капиталами я, без трёпа. На платье призаняла у девчонок по комнате. После вышлете.

— Вряд ли дождётесь. Я забывчивый. Забываю возвращать долги.

Это, увы, не охладило её.

— Так берите без возврата! — ликующе распахнула она сумочку, торопливо пустила в неё руку.

— Вот это уже лишнее! — заградительным шитком вскинул я ладонь. — Хватит играть в доброту! Не нуждаюсь я в вашей жалости с возвратом! Ещё б под расписочку! Вы... вы... забудьте всё, что я тут наплёл... Вокзал — неправда! Деньги — неправда! Я не хочу лжи... У меня... действительно не лучшие времена... Когда всё сладится, я сам вас найду. А за мной не надо шпионить!

— Я... — как бы защищаясь, она поднесла в обеих руках сумочку к груди. — Я шпионю?! — в голосе у неё бились подступающие слёзы.

Я машинально дёрнул мокрым плечом.

Для надёжности оперевшись костылём в пол у ножки скамейки, Роза трудно поднялась и медленно, с натугой вспрыгивая, потащила вверх по лестнице.

— Можно я провожу вас до трамвая? — повинно промямлил я.

— Шпионки не сопровождают... — не оборачиваясь, ответила она размытым самолюбивым голосом.

Всё равно провожу! Рывком головы сбросил я кепку на лавку — занято! — и сам ахнул было следом, но тут же, заскрежетав от боли в ноге, упал на руки. Упёрся ладонями в пол, оттолкнулся, поднялся наконец.

Роза уходила. Слава богу, что она ничего этого не видела.

Я осторожно потыкал больной ногой в пол, как бы шупая его, приучая ногу к тому, что она и должна делать, — ходи, мол, привыкай, обвыкайся. Вроде потихоньку можно наступать. И я по стеночке, по стеночке поскрёбся вверх по лестнице.

На площади было темно. Шумел угрожающе ливень. Под зонтом Роза шла к остановке.

Чувство вины подпекало меня. За что я обидел девушку? Она шла к тебе с добром, а ты только и смог, что пасквильным словом мазнул и её, и себя? Со стыда вовсе не решаясь догонять её, я понуро плёлся за нею в отдалёке, хромая.

Едва Роза подошла к неосвещенной остановке, как из-за поворота вывалился весь в огнях трамвай. Я думал, она хоть прощающе оглянется. Не оглянулась. Тогда я, смилив себя, запоздало ринулся к ней, хотел помочь войти. Но она вошла и без меня. Я лишь успел прошептать в спину:

— Извините, Роза, извините...

В посадочной суетне вряд ли она услышала меня.

Трамвай стронулся. Я остался совсем один на остановке. Вокзальные мерклые окна звали своим слабым чахоточным светом; мне не хотелось даже сойти с места.

Я побито стоял под дождём, всё чего-то ждал в этой темноте и не спешил уходить. Мокрому дождь не страшен... И всё тише взвенивал удаляющийся трамвай. Улица была прямая, трамвай долго был мне виден. Залитый до ломоты в глазах ярким радостным светом, он будто торжественно нёс по ночи, уносил с собой в глушь ночи нечаянный мой праздник.

Возвращаюсь — на моей лавке высокий тонкий парень с глубокими печальными глазами. Увидав меня, он как-то растерянно улыбнулся, совсем свойски протянул мне руку, помогая сесть:

— Здорово, рыжик^{77!}

Я кивнул, морщась от боли.

— А я смотрю, подлетает к твоей перине один загорелый. Кепку — в сторону, заваливается. Я вежливо постучал его по плечу. «Дядя, зачем толкаешь-обижаешь кепочку? Моё место. Освободи». И освободил. Чин чинарьком.

Я благодарно покивал ему головой.

— А это, — парень показал по лестнице вверх, — была твоя аллюра^{78?} По глазам вижу: твоя вокзальная фея... Не возражаю! Только... Прости мой мозг, не врубакен... Только где же твой вкус? Разве не видишь — полундра^{79!} И липкая... приставучка. Она у тебя дворянка?.. Тоже дворянка?

— Столбовая... Мучится в педо. В институте благородных неваляшек.

— А по виду не скажешь... Такая нахалка... Третью ночь подряд сама притёрлась к тебе.

— Ты-то откуда знаешь? — удивился я.

Парень сдержанно присвистнул.

— У-у, нам-то не знать! — вскинул он палец. — Мы наперечётки знаем, кто в этой погребухе шьётся... Сами-то мы как настоящие дворяне предпочитаем «Метрополь». Только «Метрополь» наш без окон, без дверей пока, без крыши... — он показал на стройку.

На привокзальной площади, по тот бок, строят полукруглый дом. Уже выскочили на четвёртый этаж. У дома-дуги нет ещё асфальта. Там я и прокатился верхом на арбузной корке.

— В хорошую погоду мы в «Метрополе» баронствуем, а в активированную погоду⁸⁰, как сегодня... Нынче дождь выгнал всё дворянское собрание сюда, — малый стрельнул вглубь зала, где особняком ото всех вокруг рослого патлатого толстуну лет тридцати, уже с бадейкой-животом, толклось с пяток ещё совсем зеленцов. Пузан пел в шёпот. На нём был блестящий галстук с надписью скобкой: «Охота за хорошенькими женщинами — самый увлекательный вид спорта».

Про этот галстук я слышал от Митрофана. Да не тот ли спортсмен так крупно его надул?

— Кто этот кудрявый пеликан? — спросил я про спортсмена.

— О! — с нескрываемым почтением отвечал парнишка, — это большо-ой... академик!.. Ты только послушай, каковски под гитару шампурит!

И мы оба наставили уши, едва вылавливая из вокзального бубуканья жалующийся голос клюши⁸¹.

*Пустите, пустите, пустите,
Я домой хочу.*

*Простите, простите, простите
Тунеядцу москвичу.*

*Сижу я, робяты, на камне
И чешу живот.*

*Тайга мне, тайга мне, тайга мне
Надоела вот.*

*Мы нашем, робята, и сеем,
Корчеваем пни.*

*Отрезаны мы Енисеем
От большой земли.*

*Фарцовщика встрянул с Можайки,
Боб по кличке Нос.*

*Идётся он в дырявой куфайке
И везёт навоз.*

*Хотел я сперва засмеяться,
Да махнул рукой:*

*Зачем обижать тунеядца,
Когда сам такой.*

*Пустите, пустите, пустите,
Я домой хочу.*

*Простите, простите, простите
Тунеядцу москвичу.*

Нытье пузыря, манерное, с ужимками, с закапыванием глаз, немного развлекло меня. А мой сосед убежденно пульнул:

— Жизненно пашет этот гитаросексуал⁸²! Сам музыку составил!

— Хрен Тихонов!

— Он у нас большо-ой человек... У-у, какой большой!.. Больше не только митрошки⁸³ — больше самого митрополита⁸⁴! Бабай⁸⁵!.. Ему фасонистая давилка из самого из Парижу доставлена на заказ! А ты говоришь — купаться!

— Если ему из Парижа на заказ возьят галстуки, что он здесь делает?

— Откуда мне знать... Может, налаживается в

сам Лондон за расчёской... Не слишком ли много ты задаёшь наводящих вопросов? Пахать языком здоров... Зовут-то хоть как?

Я назвал себя.

— А меня, — шепнул он, — зови Бегунчиком. Мне так к нраву... Ты куда бегаешь на кормёжку? В канну или в грелку?

— Послушай, — пыхнул я, — ты нормально можешь говорить? Что ты там чирикаешь на каком-то рыбьем языке? Я тебя не понимаю. Какая канна? Есть Канн. Приличный курортный городишко аж во Франции. На Лазурном берегу Средиземного моря. И что, вы туда ходите по утрам кофий пить? Не далеке ли?

— Э-э, — укорно вздохнул Бегунчик, — понесло парнишонку бешеной водой... Чего ж тут не понимать? Канна — ресторан, грелка — чайная. Чего непонятного? Может, ты того и не понимаешь, что все твои воробушки⁸⁶ давно разлетелись? Так ты скажи... Может, ты безработный?.. Может, тебя совесть заела, не даёт без честного пота прожигать молодую жизточку? Опять же скажи... Я найду, чем успокоить твою совесть. Я хорошо знаю одну фирму, упорно ищет таланты молодые. Нужны тому обществу, например, до резезу нужны гравёры, блиномесы, блинопёки⁸⁷... Ты каковски на это смотришь?

Я потрепал его по плечу.

— Бегунчик, скакал бы ты к своему табунчику... Дай я прилягу... Нога что-то печёт.

Едва уснул, когда Бегунчик разбудил меня, разломил сон.

— Мы линияем... Можь, тожеть с нами?

— Да нет...

— Почему? Прости мои мозги, не врубакен... Из-за ноги?.. Ну, как твоя сударыня ножка? У-у, колено красной шапкой оттопырилось...

Я попробовал поднять больную ногу и ойкнул.

— Хо-хо... Не миновать мясничкой⁸⁸, — сказал Бегунчик. — Слушай, покуда наши то да сё, давай-ка я тебя по-скорому верхи отташу... Знаю поблизи одну... Хоть страшно и подпирает сменить воду в аквариуме⁸⁹, да потерплю... Ну, скачи!

Бегунчик дурашливо присел, подставил мне свою длинную мосластую спину. Особо раздумывать было некогда. Вид ноги, плотно залившей опухолью всю серёдку штанины, обычно

болтавшейся на ноге, как на палке, напугал меня, и я, обхватив Бегунчика за шею, сторожко переполз к нему на спине.

После сильного дождя на дворе было свежо, зябко. Небо чистое. Хоть одежда на мне за ночь и высохла, однако было холодно, я тесней жался к молодому горячему Бегунчику, чьё тепло ощутимо грело и через наши одежды.

Первые дворники, вскидывая мётлы, весело приветствовали нас, что донимало Бегунчика и на что в ответ он корчил жуткие рожи. Дворники незло посмеивались. Только один так связвил:

— Сразу видать, што дуренькой, на цвету прибитый... То-то на те верхи катаются с самого с ранья.

В вестибюле гремела ведром и шваброй уборщица. Дверь была наразмашку, выпуская вон настоявшееся за ночь тяжёлое тепло.

Без передыху Бегунчик проскочил в простор больничного тепла, сел на корячки, привалил меня к дивану.

— Ну, рыжик, не живёт худо без добра!

Он опробовал диван.

— До чего перинный! Пока приём... Высишься до приёма на мягком, как король, и ни с одним ментярой не поздоровкаешься! И к врачу в первых лицах будешь. Первейше тебя никогошеньки нету во всём городе!

Усталая кость к мягкому лакома. Пожалуй, Бегунчик ещё со ступенек не слетел — я уже уснул.

12

Молодой унылый хирург буркнул:

— Ну-ка, топнем пяточкой в пол. Топнем...

Я попробовал и, покривившись, сел.

Поддерживая ногу выше колена одной рукой, другой он широконоько отвёл ступню влево, отвел вправо. Насуровил брови.

— В коленке ходит в стороны... Как маятник...

Разболтана... Надорвана наружная боковая связка... Эта нога попадала раньше в переделку?

— Ещё года три назад... Гоняли футбол... Вывихнул. Чашечка аж набок заскочила... Бывает, идёшь, в ноге хрустит, как у старой козы.

— Эу! Не нравится она мне, детонька...

Он скользнул летучим постным взглядом по набрякшей ноге, кивнул сестре — выжидательно пялилась на него от окна:

— Лангетку.

Меня облило страхом. Я оцепенел. Имел я уже счастье проваляться чуркой полтора месяца в больнице именно с этой, левой, ногой, обутой в гипсовый сапожок. Неужели снова на полтора месяца?

Сестра наложила гипс лишь сзади по всей ноге от корени до вышки. Не думал, что можно так быстро обезобразить ногу.

Я чуже косился на прямую, уже негнущуюся ногу.

— Не узнаёшь? — с некоторой долей вины улыбнулась сестра.

— Не-е...

— Ещё до паралича налюбуйешься своей лангеткой. А пока не совсем застыло, отгинай углы снизу, чтоб рябром гипса не тёрло щиколотки. Отогни и сверху по краям ушки. Не будет давить, и при ходьбе за одно ушкё можно из кармана придёрживать эту чурку... Ня давай ей сьязжать на сами щиколки. А натрёшь щиколки в кровя, так зялёнкой, зялёнкой...

«Это что-то новое», — уныло думал я, отгибая белый желобок с обоих концов. Гипс был ещё податливый.

— Какая зялёнка? Какая ещё ходьба? — растерянно бормотал я. — В прошлый раз ну все сорок пять дней честно припухал в больнице...

— В больницу? — спросил врач. — А может, ты ещё запросишься в пятую хирургию⁹⁰? Успеешь... Её никто не обежит... А пока ни пятой тебе, ни шестой.

— Такие с утра строгости...

— Никакой больницы, — зажевал доктор зевок. — С этим не кладём.

— Спасибо вам...

— Спасибов много, да... — в усмешке он потёр три пальца, — маловато... Через недельку так начнём потихоньку расхаживать... Да-а, ходить... ходить... Жизнь в движении!

Он гулко постучал ногтем по застывшему у меня на ноге каменному желобку.

— Это удовольствие... Музыка эта всего на три недели... Отлежимся дома... — До хруста в челюстях зевнул, даже слезу трудовую выжал. — Хох... Сочи на дому!.. Мне б так... Ну, вста-

ём потихоньку... Сейчас с ветерком домчим на скоряшке!

Голова у меня пошла кругом. Какой дом? Какие Сочи? Какое отлёживание? Может, бухнуть всё как есть? Глядишь, возьмут в больницу? Но как скажешь?

Документов ни напоказ при себе, всё у этого панка Коржова. В регистратуре поверили так, на честное слово, всё записали со слов... И что я студент нового набора, и что живу по адресу бабы Клани... С горячих глаз наплёл густо.

Шофёр повёз, как я и сказал, в сторону вокзала. Я принялся показывать ему дорогу. Выждав вежливую паузу, он с перехмурами сбычил глаза на меня.

— Ты мне, — вздыхает, — нервишки не жги... Не тычь пальчиком, в какую сторону везь. Ты мне адрес... Я не толдон какой... Город знаю, как свою лицо. Адрес!

Я смято молчал.

— Ну чего сидишь, как пришибленный кутёнок? В сам деле, не на вокзал же везь?!

Я совсем опал духом. Теперь с моей ногой ходу никакого. Круглые сутки торчи на вокзале или в привокзальном скверике? Любопытная милиция, милые лица, как пить дать, навалится с расспросами, кто да откуда... Паспорт у Коржова. Объяснения на пальцах вряд ли утолят её живейший интерес.

Я вспомнил о детском парке. Это рядом.

— До вокзала не обязательно доезжать, — говорю. — Возьмите на Энгельса.

— Обязательно... не обязательно... — по-малой проворчал шофёр. — Совсем не обязательно, когда эвон, — качнул на выскочившего из-за угла дома каменного горнового на крыше вокзала, — грозит уже накалённой дубинкой!

Детский парк оказался раем. Днём тихо, редко когда проведёт ли бабунюшка своего внука, прокатит ли в коляске молодая мамаша своё сокровище, счастливо заглядывая ему в глазки и млея, и — тихо. Парк безлюдный, зелени густо. Клены, тополя, липы...

Дни можно здесь, а то и ночи, были б сухие, погодные. Да и в дождь на крюк закрылся в передевалке... Она сразу за сценой, тесная, с крышей. Два хромых табурета. Составь и спи. Только, пожалуй, тесновато. Ноги надо слегка на

стенку задирать. А пожелаешь полной роскоши, ползи на вокзальную лавку. Там вытянешься по полному росту, есть и ещё куда тянуться-потягиваться. На вокзале оно и побезопасней...

Я задавал храпунца на скамейке в уюте зарослей сирени, когда меня разбудил Бегунчик. Травинкой мягко мазнул по щеке, я и очнись.

— Ну, как ты тут? Живой? Не зарезали врачисты? Не оттяпали чего? Что они с тобой сотворили? А ну покаж!

В нетерпении дёрнул он кверху штанину мою, удивлённо присвистнул, увидав гипсовый лоток. Постучал.

— Ёперный театр! Кре-епенько они тебя в камень упаковали. Не в обсудку будь сказано, тебе не страшно теперь шарить по садам. Я не завидую... Я сочувствую той несчастной собачке, которая рискнёт куснуть тебя. Без идолов⁹¹ же останется! Чем только горькая сахарные косточки и будет грызть?! А это... — Бегунчик выстрожил лицо и заговорил занудно, будто отвечал урок: — В Воронеж как-то бог послал кусочек сыра... — из газеты он вывалил мне на колени буханку тёплого хлеба, растяжёлый венчик колбасы. — Тебе боженька послал... На мой счёт, на твои тугрики. Поправляйся, точи бивни... Держи острыми. Ты ещё нужен... Ты пока жуй, а я с-с-сбегаю пос-с-смотрую, как с-с-солдаты из ружья с-с-стреляют⁹²!

Меня поразило, как он отыскал меня. Он просто сказал, что нашего брата-бездомника надо искать поблиз дома. Вокзал он называл домом.

Вернулся Бегунчик сияющий.

— Ты выправку, выправку покажь!

Я не смел ему отказать. Немного прошёл, приволакивая тяжёлоку-ногу.

— Гер-роидзе! — восхищённо стукнул он в ладоши. — Ух, какая она у тебя толстяра да важнюха. Как княгиня! Нога... ногиня... сударыня... богиня... Ну, будь. Труба зовёт. Лечу! Не скучай. Знай себе держи ким⁹³... И поменьше ходи, быстрее побежишь.

Врач говорил, через неделю надо пробовать потихоньку ходить. Я же отлежался один день, а на второй уже пошёл. Было это не кругосветное путешествие, но не идти я не мог. В день я заставлял себя одолевая расстояние до Светлячка

и обратки. Для этих хождений детский парк оказался выигрышной, он был ближе к Светлячку, чем вокзал. Я ходил узнавать, не пришло ли что от мамы. Шелестелки всё не приходили. Мне не на что было уехать...

В этих мучительных странствованиях я сделал открытие, поразившее меня. Мне кто-то подбрасывал капиталишко! Конечно, не тысячи, не сотни, а всего-то мелочь. Но — деньги! Кто? Как?

Ещё затемно я откладывал башельки на хлеб в правый карман, а левый, где было все моё оставшееся состояние и номерок из камеры хранения, я натуго перетягивал надёжной бечёвочкой. Отложенные монетки в кулаке относились в булочную. От детского парка она тоже была ближе, чем от вокзала. Вышел из парка, перескочи через улочку и чуть возьми влево.

Пока я шёл, медяшки в кулаке становились мокрыми от пота. Я разжимал кулак, монетки не падали. Прилипали, жаль уходить от меня. Я тряхни рукой — они глухо соскакивали на прилавки, и я получал свой кусок хлеба. У входа в булочную была колонка, где я и съедал свой хлеб, запивая каждый откус прямо из белой толстой струи.

Кинув последние крошки в рот, я правился к Светлячку. Возвращаясь от неё, я всякий раз насакивал пальцами в кармане на чужие белые, жёлтые монетки — лежали поверх узелка. Кто подкладывал? Какая душа это делала?

Я внимательно следил за всеми, с кем встречался, но тайного добруши не находил. По временам это начинало меня пугать. Невидимки же суют мне бабашки в карман?

13

*Если любовь не знает границ,
значит, она вышла за рамки.*

Т. Клейман

Нет ничего тяжелее, как носить пустой желудок. Нет ничего трудней, как ничего не делать.

Вечно валяться в тиши на парковой скамейке надоедало до озверения и угнетало, — угнетало тем, что целыми днями не видишь людей. Отто-

го-то, едва проснувшись в кустах, едва отойдя ото сна, таращишься сквозь тесную листву по сторонам, высматривая людей и в парке, и на простреливавшей рядом сонной улочке.

Я ждал вечера, как манны небесной. Вот слетит вечер, я пойду на вокзал... На вокзале я не буду один... Это вечернее возвращение на вокзал, хождение долгое, погибельное, превратилось для меня в каждодневную работу. Так бы и не знал, чем заняться, а то уже с утра, прихромав от Светлячка, думаешь, как будешь брести на вокзал, из кармана или поверх брюк придерживая за ушко гипсовую чушку.

К вокзалу я доплывал уже около полуночи, абы не мелькать лишние разы перед ментурой. Случалось, приходил и раньше, если нашлёпывал или собирался ударить дождина. В дождь я не мог сидеть один в пустом парке, закрывшись в переодевалке на крюк. Стучал дождь. Казалось, он настойчиво стучал мне, звал к себе, и мне стоило большого труда не выглянуть.

Я выглядывал — страх окатывал меня. Кругом пусто, слышен лишь унылый шлепоток капель по листве и темно, темно... Начинало мерещиться бог знает что.

Зажмурившись, я кидался назад, в переодевалку. Но и тут, за крючком, видения не оставляли меня, и я видел себя то на необитаемом острове не у самого ли Робинзона, то видел, как ко мне подходил с доброй улыбкой Пятница — ни больше ни меньше, очень похожий на того Пятницу, которого я видел в захватанной домашней книжке на рисунках, те рисунки врезались в меня, я всегда их помнил. То вдруг мне виделось, как я доил коз, — доил вовсе не призрачных коз на необитаемом острове, а вполне реальных Катек, Манек, Зоек, которые жили у нас в Насакирале и которых я сам частенько доил, если мамушке было некогда...

Когда небо закидывали тучи, болезненное ликование распирало меня. Я скоро пойду на вокзал! Я скоро пойду к людям!

Я не ждал начала дождя, а потиху, обстоятельно ковылял с корягой к вокзалу. Придя иногда ещё засветло, не летел к своему лежаку напротив камеры. Под вокзальными колоннами, куда дождь уже не забегал, я останавливался передохнуть и подолгу в тоске смотрел на выходивших из троллейбусов людей. Тут была конечная бой-

кая остановка. Из троллейбусов народ тесно высыпался, как зерно из пробитого ножом мешка.

Не понимаю, что меня тянуло заглядывать в лица приехавшим. Надеялся увидеть кого из своих? Да откуда могли взяться знакомые в чужом городе? Всё тут было, конечно, в том, что я, отлёживаясь одинцом, как бирюк, начинал скушать по людям, по их улыбкам, жестам, по их разговорам — по всему живому, что окружало нормального человека.

Случалось, в переполненном троллейбусе к двери, как к смерти, туго напившая сзади орда подпихивала какую-нибудь ветхую старушку. Старушка не знала, как и сойти, со страхом лупилась, как на гибельную пропасть, на землю, такую далёкую, такую зыбкую. Бабуся пропаще блуждала взглядом по сторонам, ища, кто бы помог ей, и тут я, потеряв всякое обладание, подхрамывал и вытягивал одну руку, другой держась за дверь.

Во всех этих горьких случаях, где я невольно выскакивал таким минутным геройчиком, меня больше всего коверкало то, что старушки после приставали с бесконечными подобострастными благодарностями, иные норовили впихнуть в руку карманную мелочь, поэтому, сделав дело, я быстро отворачивался и, воткнув глаза в землю, насколько можно ретивей брал за колонну, в толпу.

На этот раз в дверях застряла весёлая грудастая девчища с ямками-омутками на щеках.

— Чего стали? — многогласо потребовали из тесноты в глубине салона.

— Да середнячка, блиныч, забуксовала! — сквозь досаду хохотнули на выходе. — Вот ещё танцы-рванцы!

У веселухи на плече вперевеску толстый мешок, в каждой руке по два, видимо, непустых ведра, поскольку они сильно тянули книзу, ободками упираясь одно в одно. Деревянные катушки дужек коротко покатывались туда-сюда на дрожащих от чрезмерного напряжения крепких пальцах. Толстушня боком застряла в дверях и никак не могла выйти — не пускал мешок, не пускали ведра.

Я подсуетился, взял из её одной руки обтянутые сверху полотнянкой два ведра, которые так рванули книзу, что я едва не воткнулся в асфальт лбом. Через мгновение свалился мне на плечи и

мешок. Я чуть было не переломился, но, бог милостив, уцелел и, засопев, с прибежкой — не поторопись, не выдержу, рухну, — порыл в вокзал.

— Ё-ё-ё!.. — озарённо, ликующе запела вслед девуня. — Ну чо ж это и культурные детки по городам проживают! И спасибы скажут! И грузы твои поднесут!.. Эку тяжелишшу прёшь, как тракторок. При силах... Я ж тя, дитятко, поцалуюм души токо и отблагодарствую!

В вокзале сложил я её поклажу у стеночки, и только расправляю бедную спину, поднимаю лицо — «благодетельница», цепко ухватив меня за бока, весело, со смехом вертанула к себе, и я, послушной крутнувшись юлой, оказался с нею лицом в лицо.

Балкончики — тугие величавые груди, до судороги ощутимо слышимые под тоненьким застиранным ситцевым платишком, вдавились мне в грудь, и горячий ток хмельной сладости хлынул в меня. Руки сами слились у неё на спине в железное кольцо, судорожно подгрести её ещё ближе, плотней.

— Ой, дитятко! — обомлело охнула она, увидев меня в лицо. — Откуда и сила... Такой тонечкий... Я думала, ты просто рослый, а ты... взрослый... Да-а... добыл в работе... посулилась...

Она раскрыла полные огневые губы и медлила. Не было никакой власти над собой ждать. Неистовая сила тычком подтолкнула к её губам, и я, ещё раз инстинктивно шатнув её к себе, неостановимо потянулся к зовущему плутовскому огню поцелуя...

Через минуту мы оба стыдились этой нечаянной вокзальной шалости. Срезанно уронив голову, она отвернулась. Отвернулся и я себе, шагнул к окну. Так мы и стояли по разные стороны от горки её вещей.

— Эвот стоимсе, толкуши, чо и поезд уйде... — наконец подала она голос. — Чо скозлоумили... Тряхонули бедой⁹⁴!

Я в ответ ни звука.

— Всё молчаком да молчаком... Ни росту, ни тягу... Чо топориться⁹⁵?.. Растребушил душу... Спроси чо-нить под интерес...

— Да что я спрощу...

— Ё! — обиделась она. — Чо-нить хоть вкратцы... Доцаловались, и спросить нече... Схомутает же господь...

Мой взгляд упал на её ведра.

— Вёдра у тебя... тяжелуха... — пожаловался я.
— Что в них, кирпичи?

— Аха-а, — ласково подтвердила она. — Сюда везла сырые, отсюда калёные...

Я обрадовался. У меня ещё есть вопрос!

— А почему тебя в троллейбусе назвали середнячкой?

— А то кто же я? Вещей сила силенная... Чувал на мне вперевязку... Клунок спереди, клунок назад. Я посередке. Кто же я? Форменная середнячка...

И снова молчание.

— Ну-ну, — в нетерпении подживила она. — Добейся до тонкостей... Спроси ишшо чо-нить... Ловкий разговор открывается... — она мягко прыснула в кулак, подошла ко мне. Тронула за локоть.

— Ну чо, вежливый, обжэгси? А? Чо в молчанку? — видимое озорство входило к ней в голос. — Как жа ты теперичка мене и спокинешь? Кто мне подможет на поезд вскочить? Кто подможет сойтить? Кто припоможет всё это, — кивнула на свою горку, — до дому допурхать? Чего разводить толды-ялды? Можь, дёрнем ко мне вместе?... Иль уже вся вежливость сожглась?

Она звала меня с собой? А может, я ослышался?

— Ты хочешь, чтоб я ехал с тобой? — спросил я.

— А ты не хочешь?

— В качестве?

— А кем возжелаешь! — бросив руку в сторону, отпела с баловным поклоном. — У нас в Сухой Ямке на мужиков стро-о-огий лимит. Все лимиты давно выскребли до донушка. Под метёлочку... Нетуша! И не ожидается... Ни кривенького, ни хроменького, ни горбатенького. Никаковско-го! Бедствует по мужеской части Сухая Ямка.

Я оторопело уставился на неё. Таким ли бедствовать? Похоже, она и без слов поняла меня. Вздохнула.

— У самого глаза не из аптеки, видишь... Деваля я справная, видом ловкая... Жир на мне не толпится... Один нижнядвявицкай сигунец до-олго, года с два, топтал ко мне дорожку. Ни в тын ни в ворота... Аленостный што! Сидень сиднем... Круглый лодырюга... И рад бы нос выморкать, да вот беда, руку поднять надо... За ним как за малым дитём уход надо несть... До того допёк — готова была отремонтировать ему бес-

толковку⁹⁶. Еле отлепила... Славь богу, утёк колумутной водой⁹⁷... По Сибириам прохлаждает-ся... иль по целинам... Тот-то его знай!

Постояла она немного на раздумах, подумала и, смелая лицом, с каким-то бесшабашным вызовом кинула:

— А ехай хоть квартирантом, хоть мужиком! Кем вдобней... Во-о смеху! Поехала Манька у город яйца продавать, а на выручку прикупила себе муженька!.. Ё-твоё! Чо буровлю? Ну чо буровлю? Совсем чёрт девку понёс, не помазавши колёс!

Она осудительно махнула рукой, длинно молчала, глядя в одну точку на тёмной толстой стене. Потом заговорила каким-то новым, заплаканным голосом:

— Я, толдыка, не умею от людей таиться... Мне в голову ещё думка та не вошла, а с языка уже свалилась в чужое ухо. Недержачка... За то и казнят... Не знай почему, но мне жалко тебя. Ты такой махенький, квёленький... Доход-доходяга... Город тя стопчет... Раздавит... У нас ты б подправился, боровком глядел ба. Хорошу зависть кладу я той, к кому ты судьба пришпилит. Ты ладливый, унимательнай, не дашь ветру дунуть... Носик аккуратненькой, с остринкой... гордова-той... И лицо всё в конопушках, будто весёлые воробейки восшалили. От ты и ребятишки с конопушками побегут... Навроде ты путячий... А... До работы я, шевелилка, бешеная... Не какая там фрельня⁹⁸... Я и тебя всему научу, в хозяйстве сгодится. И ты у мене станешь на обухе рожь молотить, из мякины кружева плесть. У мене не напрохлаждаешься. Я всё и затылком вижу... Так зато сразу забудешь ноженьку таскать. Лаской упрошу её ладом ходить... Зажили б на толсту ногу...

Всё это вроде говорилось мне, и в то же время она как бы рассуждала сама с собой, порой вовсе держась так, словно рядом и не было меня.

Я слушал её и терялся в догадках. Вот так поворот! Ты сможешь человеку выйти из троллейбуса, а он в благодарность за то готов цапнуть тебя всего живьяком и доведу упечь в какую-то Сухую Ямку, будто Сухая Ямка от этого станет Мокрой. Зачем же вот так сразу и в Ямку?

Может, про Ямку — просто к слову? Может, всё это у неё не поддающаяся здоровой логике игра пустого воображения и больше ничего?

— Ну, так... я беру?.. — запинаясь, смято, как-то надвое спросила она, покосившись на кассу.

Я широко раскинул хваталки. Само собою разумеется! Играть так играть!

Она стремительно пошла к кассе. На ходу обернулась, озоровато плеснула синью глаз:

— С тебя ничо не беру. Отблагодаришь потомча поленом по горбу!

У окошка никого не было. Она отошла в угол, достала из-под близкой чулочной резинки шуршики, подала в окошко.

— Два до Хренового!

Она брала всё-таки не один — два билета! Брала и на меня! Непостижимо! Я думал, она всё шутила, всё играла. Так, билеты — это уже не игра!

Как-то уж так получилось, что ноги сами быстро-быстро, почти бегом, отнесли меня за открытую входную дверь. В тёмном углу за дверью стало как-то спокойней на душе, только тут я подумал, а чего это я убежал от её вещей. Если всё дело в охране вещей, храбро думал я в своей тёмной темнице, я могу и отсюда наблюдать, чтоб не приставили им ножки. В щель между дверью и косяком всё помилуй как видно.

«И почему же я убежал», — спрашивал я себя, пялясь на её вёдра, мешок. Почему? Я не мог себе ответить. И в то же время не спешил высываться из своего неожиданного надёжного убежища. Раз побежал, значит, был мне откуда-то сверху дан голос: «Беги»?! Но был ли? Вточне я не помнил...

Она вернулась к своим вещам с двумя билетами и удивлённо, как-то потерянно заозиралась. Естественно, меня нигде в зале на видах не было. Она капризно хмыкнула, щёлкнула ногтем по веерно раздвинутым билетам:

— Не срослось... Как в песне... Мы странно встретились и странно разошлись... Вежливо пришёл, вежливо ушелкал. Тишко... Без шума... Нажились на толстую ногу... Пустограй... А я, дурёнка, расчехлила пред ним душу... Какую веру положила...

Девоня подошла к урне, занесла над ней один билет, но бросать подождала, ещё раз смято, тоскливо зовуще обвела глазами зал и, вздохнув глубже прежнего, так, что свежий воздух наверняка добежал до низа лёгких, без сожаления раз-

жала пальцы. Красноватым вихлястым пламешком прожёт мой билетку короткое расстояние от руки вниз и навсегда пропал в чёрном зеве урны.

После моя знакомица взвалила на себя всю гору своих вещей — на одном плече мешок, на другом в связке какие-то пухлые узлы (в камере хранения взяла), — завесилась своим добром, совсем пропала, исчезла под ним и медленно, толсто, неповоротливо, будто слониха, потащилась мимо меня, незаметного в тёмной задверной тиши, на перрон.

По радио объявили посадку. Наверное, подавали её поезд.

14

*Вести себя раскованно
С начальником рискованно.
Олег Левицкий*

Дней через семь я почувствовал силу, твёрдость в больной культяпке и, всё же ещё прихрамывая, поскрёбся к Коржову.

Моему приходу он как-то жестоко обрадовался. — А-а!.. Писарюга!.. — жёлчно разнёс он в стороны руки. — Неувядаемый писарелло!.. Наше вам с клизмочкой!.. А я за тебя было порадовался. Думаю, сколь сошло, а он всё не идёт. Может, думаю, совесть загрызла этого гегемона⁹⁹, стыдно выплывать на глаза. Есть ведь чего стыдиться... А ты всёжки явился, не упылился. Оши-ибся я...

Он выдернул из стола верхний ящик наполовину, стал рыться в свале бумаг, отрывисто, на нервах бормоча:

— Я на досуге пошевелил плешью... хотел доброе дело... А ты, писарьчук... Сколомутил... Нагнал пурги!.. Напугал!.. Я покажу, как разводить склоки! Любишь брать на свой хохряк! Разбежался, ушляк, уставить свою власть в моих владениях?! Я ж мог... Хваталин в общежитии не живёт, зато твёрдо числится. Я мог бы на его место культурненько, бетонно воткнуть тебя. А раз ты так... И я делаю ставку на отставку! Пускай койка пустует, но меня ни одна язва не заставит взять тебя на место человека, который по факту не живёт, а из документов не уволен. В этом-то и сладкая штука! Он — есть! А тебя, ско-

вородничек¹⁰⁰, — скушали-с! Нету-с!.. И никогда не будет, раз полез в газету... Газетёхой напуржил! Как же... Держи поширше! Сейчас вот только уши накрахмалю! Клеветона на меня возжаждал? А я тебе на будущее совет бесплатный дарю: не козлоглагольствуй! Так-то оно, писательшишка, надёжней будет!

Коржов так часто сыпал, что я не мог войти в разговор. Да и не решался, если по правде. Я чувствовал себя в чём-то виноватым перед ним.

Ну в самом деле. Директор, почтенный, при лысине, при галстукке, а я, глупан, пойд и бухни про него в редакции. Куда это годится? Да узнай про это мама, мокрым полотенцем под горячий случай хлестанёт. Не груби начальству! Начальство знает, что делает, на то оно и начальство, и мы, навозные жуки, ему не указ!

— Угу-у! — распаяясь, надорванно промычал Коржов. — Во-от твоя газетушка! Во-от! Запомни!.. Торчащий гвоздь обязательно вмолят по самую шляпу! — и брезгливо, с омерзением швырнул на стол бумаги мои.

Паспорт, просквозив по каткой лакированной столешнице, хлопнулся на пол. Шлепок упавшего на пол паспорта охладил и удивил Коржова. Он как-то поражённо, перегнувшись через стол, посмотрел на паспорт, посмотрел на меня.

Я молча стоял у двери, ожидая, что дальше пойдёт. Если ещё мгновение назад я не смел и рта раскрыть, то уж теперь...

— Чего пялишься? — срывисто буркнул Коржов. — Подыми! — и приказными глазами на паспорт.

— Да уж нет уж... Я вам давал его в руки, по-человечьи. Верните и вы по-человечьи.

Он обежал стол и, грузный, медвежеватый, трудно поднял паспорт, пихнул на край стола.

— Хватит точать баланды! Забирай и прощай. Полный глушняк! Строчи хоть в ООН, только в моём училище тебе не гулять! Горячий привет из глубины души!

Мне стало легко, когда я вышел от Коржова.

Я понимал, что должен был дать бой, по крайней мере, возмутиться, оскорбиться таким исходом. Как же, обещал! Самой редакции! И?

Хотелось обидеться на Коржова. Да, странное дело, обида на сердце не шла. А я ж всю жизнь был такой обидчивый. Может, в конце концов я просто устал обижаться? С не понятной мне са-

мому холодной рассудочностью, как-то философски отнёсся я к развязке. Не нужен я в сантехниках, ну и не надо, волосы на себе рвать погожу. Что бог ни делай, всё на лучшее выбегает. Боженьке видней, кому чем в жизни заниматься. Значит, сантехника не мой конёк, не мне на нём и гарцевать.

Поддерживая через брюки гипс за привялое ушко, — гипс на отгибе ушка вышелушился, осыпался, уголок помягчел, осталась одна марля с редкими комочками гипса, вросшими в неё, — я плелся от Коржова и думал, что же мне теперь делать. Куда кинуться? Кого осчастливить своим визитом? Будь тугрики, я и минуты тут не торчал, усвистал бы назад к мамушке в Насаки-рали. А деньги всё не шли... Надо ждать.

Но мало ждать. Надо что-то и заваривать. Да что?

Я вспоминал, перетирал разговоры с разными разными людьми, прислушивался к их голосам, что наперебой сейчас звенели во мне. Из всех голосов мне больше нравился голос Саши Штанько.

К Саше я ни на работу, ни домой не заходил. Не звонил. Не говорил, как всё разыгралось у Коржова. Ну чего попусту полоскать людям мозги? Я слушал Сашу, и каждое его слово всплывало передо мной во всей радостной музыке. Не он ли мне пел не лезть в сантехники? Не он ли восклицал: «Это, чёрт, здорово, что вы вышли на Коржова и ловко всё раскатали про него! У вас дар, о котором и не подозревали... Вы с пером... У вас есть журналистская жилка...»? Не он ли считал, что открыл во мне журналиста? Не он ли велел держаться мне поближе к журналистскому берегу? К журналистскому!

Тогда насчёт его открытия я промолчал. Открыл ну и открыл. Эко бугор золота выворотил! Только за сто лет до встречи с ним я спал и видел себя на журналистском берегу. Ещё с восьмого класса. Я было разлетелся сразу поступать на журналистику в МГУ, но мама осадила: «Не, сыно... Трэба йихати на учёбу у Воронеж... Родина...» Я и скакани сюда.

Здесь пока нет факультета журналистики, обещают открыть. Сдавал я на филологический. Надо же где-то учиться. Важно не на кого учиться, а кем работать. Одолей филфак, я по-

бежал бы только в газету! Только в газету! И теперь, чёрт меня поколоти, всё вырывает... Лучше не надо!

То пока дождёшь университет, пять лет отстегни кошке под хвост. Туда-сюда — уплыли пять годков, не пять деньков. Да, пожалуй, лучшие.

Кончай, друже, скулёж про мамкины капиталы да про вокзальные лихости, давай с лёту в журналистское золотое ярмо! Учиться не грех и заочно! Ну почему не попроситься в газету? Будет работа — будет и крыша, будет и на что жить...

Допрыгаю до обкома, там знают, где люди нужны. Надо — пойду в городе где в многотиражку. Неправда, в многотиражке потяну. Я ж не в «Известия» рвусь. А надо... Я не перебористый, хоть сегодня катану в любую районку, в глушину. Пускай только направят.

Ну, коржовщина, ну, хваталинщина и прочая ... — щина! Ну, погоди!

Иду на вы!

В бюро пропусков обкома я объяснил, зачем пришёл. Пожилой дядечка позвонил по телефону.

— Вячеслав Павлович, тут молодой товарищ... На газетную просится работу. Выписать пропуск?.. Хорошо.

Он выписал и подал мне пропуск в круглое, как на самолёте, оконце.

— Значит, так... Подниметесь на второй этаж. Комната примерно над нами... Смотрите таблички на дверях. Сектор печати. Вячеслав Павлович Усачёв. И спокойненько там... Вячеслав Павлович за всё прост...

Дядечка ободряюще улыбнулся.

И я немного посмелел. Ну, в самом деле, чего уж так жаться? Чего уж дышать через раз?.. Ну, обком есть, конечно, обком, так и в обкоме вон — поклоном я простился с дядечкой из пропусков — живые работают люди, уветливые. Так что нечего обкомом себя страшить, так и передай по цепочке. А теперь, глупарик, смелее вперёд! Смелее!

Так думая, я ловлю себя на том, что действительно иду уже бодрей, твёрже к лестнице.

Обком партии царевал в новеньком, в только что выстроенном здании. Оно какое-то холодно-нарядное, вызывающе-торжественное. Ког-

да смотришь на него со стороны, к тебе приходит ощущение чужого праздника, и это ощущение усиливается, растёт, когда ты в дрожи переступаешь порог этих вавилонов. Боже, да живи мы не в приплюснутых, придавленных к земле сырых сарайных клетухах, а в таких роскошах, а б разве когда сутулился?

В вестибюле так много сытости, света, простора, воли, высоты, что ты, привыкший вечно сутулиться, невольно забываешься, вытягиваешься, распрямляешь плечи, чувствуешь себя на голову выше.

Разлетевшись, я остановился в недоумении у лестницы. Откуда-то сверху по её широкому ребристому телу красно стекала дорожка. Я упёрся глазами в дорожку и не мог стронуться. Дорожка чистенькая. Как же отважиться по ней топтать своими вкось и вкривь разбитыми башмаками? Век не чистились, в палец пыли! Я машинально приседаю, низом брюк прикрываю, прячу убогость своей обуви. Пускай не всё прохожий видит.

Наконец замечаю, что дорожка бежит посредине, а края лестницы пусты. По краю, у самой стеночки, я взлетел наверх, а там и вовсе час от часу не легче. Это надо — весь коридор под высокими коврами! К стенам ковры подогнаны вплотняжь, ноготь не продёрнешь. Как же топтать такую красоту, такую радость? Его бы, такой коврину, в музей, на выставку, а они — под ноги! И неужели по этим коврам ходят? Наверное ходят, раз на полу... Ну что гадать? Я — как другие. Пойдут другие, пойду и я. Пристыл на голом пяточке у лестницы, высматриваю, не идёт ли кто.

Ага, навстречу гордо профинтила с красной пустой папочкой смазливка, гляди, чья-нибудь секретутка в тесной кожаной не то в короткой юбочке, не то в широком ремне, заменяющем юбку. Не понял, в чём именно она, но всё равно до вздрога интересно. Один томкий, зовущий хруст кожи поджёт душу...

Да бог с ним, с хрустом, надо идти в свою сторону, и я уже привяло бреду к усачёвскому кабинету. Как ступнёшь — клешня по щиколотку тонет в алой мягкости, и ты зачем-то оглядываешься, оглядываешься и только уже потом ловишь себя, что засматриваешься, как в тех примятинах, где ступал, пухнатый ковёр

шапкой шевелится, распрямляется, будто ди-во-цветок распускается.

«Где ты ступил, там роза расцвела...» — качну-ло меня на чужое высокое парение, но ненадол-го — вот она, вот моя дверь. Стучу.

— Входите.

Я узко открыл дверь, втёрся боком.

Огромная комната. Кругом хламиссимо. Куда ни глянь — жёлтые бугры газет. В углах. На подо-конниках. На шкафах. Но ни одной живой ду-ши. Кто же мне разрешал входить?

В окне я натякаюсь на скверик Петра. Скве-рик через дорогу от обкома. По тот бок дороги, падающей в машинных дымах вниз, Петр стоит на своём месте, всё так же держит на весу протя-нутую руку, как вчера, позавчера, и смотрит на пустые заречные дали. Не он же мне отвечал?

В панике попятился я из кабинета. Дверь пискнула. Из-за газетного Эвереста на столе за-терянно выглянул добродушный дяденька:

— Здесь я, здесь...

Он положил ручку пером на квадратную чернильницу, пошёл ко мне, одёргивая полы костюма стального цвета.

Поздоровался за руку и, не выпуская моей руки, а другой поддерживая меня за локоть, как-то просто, домашне повёл к стене, где в ряд стояли стулья. Посадил, сам сел рядом. Положив руку мне на колено и мягко загляды-вая в глаза, стал расспрашивать, кто я, откуда, каким ветром загнало в Воронеж.

Я всё вылил, кроме одного, что ночую на вокзале. Ну кто же вокзальному варягу даст направление в газету?

— Итак, вы хотите в газету?

Я подтвердил торопливым кивком.

— А что у вас есть, кроме большого желания?

Публикации, например?

Я расплылся.

— Оё-ё... А как без публикаций? Полно! Вот...

С чувством достоинства я отдал ему вырезку.

— Первая в жизни! — присовокупил я, в тор-жестве вскинув палец.

— Тумс... тумс... — вздохнул он и побежал по листку глазами, — он искал мою заметку и не находил.

— В этой подборке моя третья... Внизу...

Последняя...

— А!.. По-чи-та-ем... А-а, вот... М-м-м... Всего

четыре фразы, два абзаца... Похоже, не «Война и мир», конечно?

— Очень похоже...

Он с кислым сожалением посмотрел на меня. Мне это откровенно не понравилось.

Когда наши в Насакирали увидали эту за-метку, мне целую неделю не давали проходу. Газету передавали из рук в руки, как эстафету. Я был герой! А тут...

— Что ещё есть? — подвигал он пальцами над головой, не отрываясь глазами от моей замет-ки и требуя подавать.

— Во-от, — вынул я из паспорта и вторую, последнюю заметку.

Они были мне дороги, я носил их в паспорте. Хорошо, что они крыхотные, из паспорта не вы-совывались и даже не помялись по краям.

Усачёв, показалось, с удивлением — «так у те-бя ещё есть?» — взял вторую заметку. Однако чи-тать её сразу не стал, а принялся разглядывать обратную сторону первой заметки.

— «Молодой сталинец», — прочитал назва-ние газеты, — Орган Центрального комитета ЛКСМ Грузии, — и монотонно, безо всякого почтения начал вслух читать вторую заметку: — «Энергично трудится молодёжь 11-й брига-ды колхоза имени Орджоникидзе села Шрома Махарадзевского района. Молодые чаесбор-щицы Маквала и Натела Надирадзе, Дарико Гобронидзе, Женя Чихладзе и многие другие выполняют годовое задание на 115-120 про-центов и 98 процентов собранного чая сдают государству первым сортом.

В честь приближающейся годовщины Вели-кого Октября каждая молодая колхозница обя-залась собрать до конца сезона тысячу кило-граммов первосортного чая».

— Это и всё? — спросил он не то с сочувствием, не то с досадой.

По его голосу я понял, что ничего хорошего мне не светит. Я пропаще кивнул.

Он надолго задумался.

Я тоже человек культурный, думать времена-ми умею. Немножко подумал и, теряясь, почти вшёпот спросил:

— А что, мало?

— Да уж во всяком случае не перебор.

Это мне и вовсе не понравилось. Мало целых двух таких заметок! Напечатаны не где-нибудь в

многотиражке или в районке — в республиканской большой молодёжной газете! Не-е, за себя надо подрататься. Как минимум!

— А под второй, — говорю, — вы видели, что стоит? Под фамилией моей в скобках? «Наш корр.»! Наш корреспондент! Корреспондент республиканской газеты... Разве этого мало? Разве это не говорит, что писать я могу?

— Скажем прямо, успехи пока весьма и весьма скромные. Одну дали в подборке «Они поступают правильно», другую подверстали в одноколонник «Коротко». Совсем крохотульки...

Он стал вслух считать мои строчки, тыча в каждую чумазым, в чернилах, ногтем.

— Во-от... В первой заметке тринадцать строк... Это вместе с подписью. Во второй, написали через два года, уже девятнадцать. Рост в полтора раза. Прогресс...

Я победно уставился на него.

— Прогресс несомненный, но, мой дорогой, — он потискал, пошамкал моё колено, — это, может, и недурно для школьника-юнкора. Но!.. Да посади мы вас в штат районной газеты, вам придётся в номер кидать по це-лой по-ло-се! В но-омер! В каждый!.. Нет. Рановато внедрять вас в штат. Я бы со всей дорогой душой и рад вас направить, — он кающе поднёс руку к груди, — а не могу... Не спешите... Спешащая нога, увы, спотыкается. Давайте уговоримся так. Будете где там работать, учиться — пишите в газеты. Через год встретимся. Посмотрим. Год скажет всё. Может, эти две ваши заметки — чистая случайность... Может, скажет, ваше место вовсе не в журналистике. А может... покажете товар лицом — с лапушками возьмём! А пока товара нет... Дело неважнец...

Побитой бездомной собачкой уходил я от Усачёва. Медленно брёл по коридору и зачем-то оглянулся. Примятины на ковре, где только что я ступал, кроваво шевелились, трудно распрямляясь.

15

У букв закона свой преискурант цен.

Б. Крутиер

Вмире не одни двери. И куда я ни стучался, нигде я не нужен. В студентах не нужен. В грузчиках не нужен. В сантехниках не нужен. В

журналистах не нужен. Растерянность морозом жгла мне душу. Где же я нужен? Неужели я во всем такой горький неумеха, что нигде-нигде совсем-совсем не нужен? Никому, ни одной душе? Что же это за родная, родовая сторона, где я всем чужой, где всё отворачивается от меня?

Мама... Мамушка... Если б вы только знали, как я устал от вокзала, от парка, от бездомья... Если б вы только знали, как я бедствую... С каким счастьем влетел бы я в вагон и уваялся в Насакиралики... Но с какими глазами подойдёшь к проводнику без билета?.. Мне не на что купить билет домой... Иль домой мне «пути все заказаны»?

Уже двенадцатый день без угла мыкаюсь я по чужому городу... А ночь идёт, так и не знаешь, где и приткнёшь голову, где и перебедеуешь до света... До нового дня... Вы никогда не оставляли нас в беде. А что же сейчас?.. Неужели у вас в сердце ничего не варится? Неужели оно не видит, как мне тут?.. Я один, я совсем один в большом чужом городе. Людей как мошки набито. Бегают в угаре туда-сюда, томошатся... Людей невпрогляд, да не подойдёшь, не попросишь займы на дорогу. Тут всякая копейка алтынным гвоздём прибита...

Чужой город не Насакирали.

Это там у нас и чужая болезнь к сердцу... Нету в обед на хлеб, и без печали. Выскочишь на крыльцо... Хоть налево шатнись, хоть направо, а без соседского рубля не вернёшься.

Нету у Семисыновых — к Сапете Меликян. Нету у Сапеты — к Грачику... Дальше Простаковы. Дед Борисовский. Карапетяны. Алёшка Половинкин. Авакяны. Гавриленки. Скобличиха-маленькая. Скобличиха-большая. Федорка Солёная. Мамонтовы. Паша Дарчия... Без хлеба соседи не оставят. Всегда свежей копейшкой разживёшься. Почему же вы, мамушка, не шлёте? Почему? Что случилось?

Вприскокку чикилял я к бабе Клане узнать про перевод. Меня будто током прошло всего насквозь. Бож-же! Да какие в чертях деньги?! Каких ещё денег я жду?!

Мне вдруг отчетливо вспомнилось... С поезда мы сразу — в университет. Сдали мои бумаги и легко вздохнули. Можно дух перевести! Не спеша, враскачку побрели по Революции, глаза на город, как журай в кувшин. Скоро наткнулись

на почтайт. На тёмно-сером телеграфном бланке написали маме.

Мы писали, что вот документы мои приняли в университет, осталось малое, остался пустяк — принять меня. В городе пробудем до первой моей вступительной двойки. Дальше мы докладывали, что сразу с почты двинемся искать квартиру, поэтому точного адреса своего пока не можем назвать. Ещё мы выразились в том смысле, что двойка — штука весьма мне доступная, вовсе не за семью печатками от меня, поэтому мы наверняка через несколько ближайших дней будем уже в конечном пункте нашего путешествия, в том месте, куда направят Митрика. И уж оттуда-то катанём обстоятельное послание, обязательно укажем адрес.

Мы добросовестно ждали двушку. Но я совсем обнаглел. Из каждого экзамена изволил выжимать пятёрки. Каждое утро так и подмывало написать домой. Но мы всё откладывали, горячо веря, что не сегодня, так уж завтра обязательно схлопочу я лебеда¹⁰¹ и уж тогда с Митрофанова места напишем. Мы без края так много лалакали о будущем письме, что я уверовал — письмо написано. И про деньги тоже.

И я чистосердечно их ждал... Жадно перетасовываю все здешние наши дни, перетряхиваю. Не-ет... Не писали... Ни адреса, ни слова про деньги, и — ждате! Балда осиновая... Ждал, чего не дожидаться и в тыщу лет!

И впервые за двенадцать дней не пошёл я к бабе Клане узнавать про перевод. Вернулся с полдороги. Ждате подмоги неоткуда. Что же теперь? Куда идти? Как выбираться из этого омута?

Я бесцельно брёл по проспекту Революции. Впереди вытянулось колом высокое здание, где была молодежная газета. Может, зайти к Саше в редакцию, вымокнуть слезами жилетку и он, глядишь, сунет чего на дорогу? Перехвачу взаймы, а там верну? Не-ет... Не дело, когда жалеют. Жалость обижает...

Было жарко, душно. Я снял пиджак и, сложив, бросил на руку. Из нутряного кармана, закрытого крупной булавкой, выскочил грязноватый, утасканный уголок комсомольского билета. Я потянул руку, но почему-то не стал убирать билет с вида, не стал заталкивать билет поглубже в карман. Этот ненароком выглянувший на свет крошечный помятый фла-

жок шевельнул во мне струны, которые я никогда в себе не трогал. «Ты ведь, — подумал я, — не сухой листочек, сорванный с дерева шалым ветром. Ты человек. Был юнкором молодежной газеты. Как мог, так вроде и служил комсомолу. Так кому же нести свою беду?»

В обкоме комсомола я почувствовал себя как-то спокойней, уверенней. Лестница тут была без ковра. Коридор не такой широкий, как в обкоме партии, и ковёр бедней, уже. Однако я всё равно боялся на него ступать и в душе ликовал даже: по бокам дорожка прикрывала не весь жёлтокрашенный пол, так что спокойно иди по жёлтой полоске. Правда, была она узкая, чуть просторней ладони, потому я медленно шёл, тесно обжимая одну ногу другой, стараясь идти строго по своей яркой стёжечке у самой стены.

Я не слышал, как меня нагнал мужчина лет тридцати. С лицом открытым, каким-то доверчивым. Тронул тихонько меня за локоть, доброулыбчиво сказал:

— Зачем же по стеночке?.. Ступайте по ковра. На то и лежит.

Я смутился. И всё же взял по краю ковра. Мужчина не убирал с моего локтя свою тёплую руку, как-то уютно, неназойливо заглянув мне в лицо, просто спросил:

— Вы к первому?

— К первому...

— Я тоже туда, — ободряюще пожал он мне локоть и продолжал идти рядом, не выпуская моего локтя.

Мне почему-то подумалось, что он держал меня не потому, что нам с ним оказалось по пути, а потому, что сомневался, что один я дойду куда шёл, и вёл меня. Шёл он уверенно, твёрдо, будто другого дела и не знал, как водил заблудившихся в людском штормовом море беспутных мальчишек вроде меня. На подходе к двери он обогнал немного меня, открыл дверь, впустил меня первым.

Маленькая комнатка. Из этой комнатки была ещё дверь. Он открыл и эту дверь, пропустил меня вперёд. У открытого окна пододвинул мне стул, сел сам. Лицо в лицо.

— Ну, — хорошо улыбнулся он, — рассказывайте, что у вас. Я и есть первый секретарь.

Я вовсе потерялся. Это сам первый-то вёл ме-

ня под руку? Я не мог открыть рта. Словно челюсти заклинило.

— Стесняться будете потом. А сейчас рассказывайте.

Сбивчиво, в подробностях выпел я всё. Даже про вокзальные ночи. Даже про княгиню Ногино в гипсе.

Он покачал головой:

— Что же вы так? Поистине, простота хуже воровства. Не мне вас в этом кабинете учить, не вам слушать... Столько мучиться! Да я на вашем месте поехал бы, извините, зайцем! Налети ревизоры — честно, как мне, объясни всё что и как. Ей-пра, везде люди, живые люди! Поняли б, дали доехать!

Я пристыженно заозирался по сторонам, подымаясь уходить:

— Так я и сделаю... Извините...

— Э, нет! — мягко дёрнул он меня за руку книзу. — Садись. Это б вы могли так сделать в тот день, когда вас выгнала жестокая старухенция. А сейчас, раз попали сюда... поможем! Надо хорошенько обдумать... Сколько вам нужно на дорогу до Насакирали, на питание в пути?

— Это... слишком... дорого... — выдавил я.

— А что вы предлагаете? Дать на билет до половины пути?

— Нет... Это вообще вам дорого... Я лучше так... Доеду до брата в Каменку... И от брата к матери...

Секретарь нахмурился:

— А может, сразу езжайте к матери? Братец у вас... Как же так?... Старше на шесть лет... Он вам вместо отца... Кто как не он должен заботиться? А он? Оставить в чужом городе без рубля! Это...

— Может, у него тоже не было денег, — потушился я.

— Может быть. Допускаю. Но! — ткнул он вверх пальцем. — Так он же приехал на своё предприятие, мог получить подъёмные сразу и навестить вас. Здесь же дороги полтора часа! У вас уже двенадцать дней назад кончились вступительные! Где вы пропадаете всё это время? Это его забеспокоило? Что же это такой за бездушный молодой специалист?.. Не-ет!.. Мы по своим каналам выясним, через райком комсомола, почему он так отнёсся к младшему брату! А вам мой совет... — секретарь вяло прихлопнул ладонью по спинке стула, на котором я сидел. —

Может, едите прямушкой к матери? Мы плотненько подумаем, может, и поможем...

Я понял, ничем они мне тут и не собираются помогать. Вряд ли дело пустят дальше подмётных выяснений.

— Пожалуйста, — занял я, — не нужно ничего выяснять... Мало ли... Я поеду к брату. В Каменку при станции Евдаково. Это и вам дешевле... Безо всякой бумажной стряпни... Я ничего у вас не возьму. Я и так доеду... Как вы учили... Зайчиком...

— Так, похоже, и быстрее...

16

Не женись по расчету — не рассчитывайся!

Б. Крутиер

Яехал проститься со Светлячком. Ехал на трамвае. И нога-княгиня побаливала ещё в гипсе, да и чего колыхаться-кланяться пехотинцем, когда можно ехать зайцем в законе?

Своими пламенными речами секретарь так поднял во мне боевой заячий дух, что я любого медведя из контрольного кодляка свалю одной левой. Нету билета, и не приставай! Будут шмели¹⁰² — заплачу! Спасибо комсомолу, в мой чёрный час подал мне бесценный совет, не побрезговал.

И вот за всё время, что маюся я в городе, первый раз еду на трамвае, еду герой героем. Без билета — как с билетом! Никого и ничего не боюсь!

Еду и слышу, как кто-то кладёт мне руку на плечо — я сидел за задней площадкой.

— Бах! Хваталин! Жених!.. Когда на свадьбу позовёшь?! — ору во всю глотку. У меня хоть и мал кадык, а рёву в нём с воз, если понатужусь: — Когда, Ермак Тимофеич? Ну, казачий атаман?!

Королевский женишок кислую даёт отмашку.

— Что так? — недоумеваю.

— Потерпел фетяску! Подал в отставку! Развелись, свадьбы не дождались... Я, бесшансовый, придал ускорение. Разошлись, как в речке два толстолобика.

— То есть?

— Ёклмн!.. Полный уссывон! Это тыща и одна ночь!

— А что дама, которой ты был объят?

— Прикинулась дохлой рыбкой... Делишки у

неё рыдательные. С её маринованным урыльником на что рассчитывать? Да ну её!.. Эх! Сейчас бы пивка для рывка, бутылочку водочки для обводчонки и бутылочку сухого для подачи углового!

— А всё-таки? Что она говорит?

— Молчит моя метёлка. Молчит, как пятак в кошельке. Ещё бы ей мокрый хвосток подымять... Верись... Я тогда про эту хромосому волосатую тебе ещё ничё такого кипячёного и не сказал... Так, не бабёшка, а охалка тоскливых костей. Больно охота на таку кидаться! Не пёс... Да еслив одне кости, а то ещё и... Припадает, хромает, как инвалидка Великой Отечественной. Ей-бо! Да еслив только кости да нога, а то ещё и глаз. Чуть не соломой затыкая. В бельме... А чуланиты¹⁰³? Не могу видеть... Эвот так и подмывает бросить на них спичку. Горящую! Бросил и чеши фокстротом!.. Еслив только кости, нога, бельмо да чуланиты... А то ещё и груди у этой бородули...

— А что груди?

— А то, что их, этих басов, всюю нету! Ни сверху, ни снизу! Так... один художественный свист. Не груди, а прыщики. Плоскодонка!.. Гладильная доска!..

— Извини! Куда ж они сбежали? Раньше ты как про них мне пел? Не груди — двустволка! Стоят как часовые! Царственные, гордые!

— Были, да все вышли...

— То есть?

— Потерялась пипочка от грудей, они и сели прыщиками. Воздушек-то тютю... Потому как надувные были-с... Всё там надувное у этих дублясов! Чуть и меня не надули! Есть же страхолюдины... Во ба поджанили бабальник на таковской мочалке... Форменная глиста в скафандре!.. Ни... Уж никакой кобелино не отбил ба! Давись дерьмом всю красну жизнь! Больно надо... Болт я на неё положил! На мой век конфеток хвата! Да я отхвачу себе советто-ебалетто-шик¹⁰⁴!

— И царёва дача уплыла?

— По-оплыла-а... по Иртышу... Иди всё хинью!.. Помахая вот сейчас в последний раз ручкой... И ножкой!.. Дури-и-ина!.. Одноклеточный!.. Воистинку прихлопнутаи на цвету... Не с дачей же жить-миловаться!

— Так из-за чего же вы разбежались?

Бедовар опало качнул рукой.

— Там тестюшка — оторви собаке хвост! Кипятком мутант писает! Эвот и переколомутил всё... Письмённый больно! Переучили этого взвирённого в церковно-приходской академии!

— А ты ж говорил, что он вроде простуня?

— Ага, недоструганный Буратинка!.. Там тако-ой простой, как три копейки одной бумажкой! Копчё-ённый во всех дымах! Делова-ар... Занудней любого копача¹⁰⁵. Грозился задвинуть меня в чалкину деревню¹⁰⁶... А из чего всё пыхнуло?.. А из-за чего поднялся этот гундёж?.. Я тебе вкратцах... Помнишь, я те рассказывал, отмечали мы день именин соседского кота? Сла-авночко наотмечался я... «Мяу» не мог сказать! Не пошёл я на второй день на работу. Не сгодился в работу и на третий. Ну, за день оклемалси, а вечером приходит паря-сосед из того дома, где кота отмечали, и зовёт на свой уже день. Деньрожденец! Без булды. На деньрожку зовё. Не на столетие русской балалайки... Вишь, полоса днёв... Эвот и запой, завал у членопотама... День то у одного кота, то у другого... Я и на третьё... пардону подай... я и на четвёртое весёлое утрецо не сгодись в копайтен унд кидайтен. Тестюшка, погостный жук, и взвейсь синим костром. Там побелел, как вша змеиная. Не отдам алкашке дочкю! В работу не лезет, ходит хиньями по-за тыньями!.. И завёл этот брахмапутра такую арию Хозе из оперы Бизе!.. Не отдам! Не отдам!.. Да и не надо. Ну какой обалдуйка отымаёт ё у тебя?! Пойду наперекорки судьбе! Немного побегал с ними под один плетень и горшок об горшок. А то он ещё учить меня будет... Я ему ясно сказанул: «Каждый прочит, как он хочет! И отвянь от меня!» Вот такое вазелиновое кино... Разлюбезнику тестюне че-естно поднёс под самый киль¹⁰⁷! — Хваталин выставил кукиш. — Помнить до-олго будет меня эта Чубляндия... Э-этот честный сектор, несчастная куркульня... День-ночь без продыху и пашут, и пашут, и пашут, как перед концом света. Там ба у меня была житуха, как у седьмой жены в гареме! Таковски тяжеленная! Сналыгали б и заездили вусмерть. Что боженька ни делай, всё на лучшее выскочит... Пускай оне раздобудут своей Лёлечке другого такого меднолобика, — он с силой и с укорным отчаянием подолбил себя кулаком в лоб, — а я

отхвачу себе зажигалку-конфетулечку, — он поцеловал сведённые вместе три пальца, — со всеми удобствами! Такой мой зюгзаг. Что я, чубрик, какой некультяпистый? Или мушками засиженный? Буду глядеть, чтоб забавушка была пухнатенькая да круглявенькая, как поварёшка. Тверда моя новая линия... Мне участочек отвалили с пол твоего Люксембурга! Раз плюнуть серенадку Солнечной долины найти... У Хваталина снайперская пуля всегда в карауле... А по Олюне сердчишко из принцыпа не тукая... Не-е, не тукая! У меня всё крепенькое, хоть знак качества припечатывай... Как-то погасил жар в груди, нагужевался до бобиков — загулял трахтибидох! — да с полного роста слетел с копытков на асфальт. Головкой об бордюрик. Думаешь, у кого бобо плюс сотрясение? Думаешь, у кого прогиб? У бордюрика... Вот зараз заберу свои последние там тапочки-тряпочки и чао-какао, здоров-кефир! Как хорошо, что утконосый Коржов не сдал тебе моё место. Как чуял, приберёт для испытанного старого кадра...

Только тут меня осенило.

— Послушай, горький мой милостивец, — поладил я его по руке, — что-то не пойму... Ты второй год в общежитии?

— Второй.

— Тебя что, оставили на второй год в училище?

— Сморозишь... Да меня было досрочно не выперли за величайшие успехи! Еле уцелел... На санчика¹⁰⁸ всего год мучиться. На второй и просись — не оставят. Кончил, катнули в работу. Жилья не дали пока. Эвот в коржовке я и токую. У нас таких полна коробенция. Уже работают, а квартирят в училищном общежитии. До времени, конечно. Уйду, как работа подаст угол, а лучше отбыть с почётом на хату к какой-нибудь виннипухочке. Вот лётаю по вызовам на своём участке, приглядываюсь, как к банку, ко всем сдобам. Как нарвусь по вкусу, так я её, горяченькую витаминку Ц¹⁰⁹, и в за-агсок... Ну... — трамвай заметно срезал бег, — моя остановка... — Хваталин без аппетита подвигал, покивал двумя толстыми, рачьими пальцами: — Ку-ку... Чеши фокстротом!

Так уж водится, что самое главное узнаёшь в крайнюю минуту.

Мы прощались со Светлячком за руку, когда глухой, размытый звон послышался совсем где-то рядом, внизу, и так близко, так тихо, что, казалось, раздался он во мне. Я машинально цап за карман и накрыл у себя в кармане другую, свободную, ручонку девочки.

— Ты-ы?! — изумился я.

Светлячок съежилась, в страхе надула губки.

— Я ничего у вас не брала... — пролепетала она, еле удерживая уже подступившие слёзы.

— Верю. В пустом кармане ничего не возьмёшь, — ответил я, преотлично помня, что и номерок из камеры хранения, и несколько ещё выживших моих последних монеток были перехвачены бечёвкой по низу кармана. — Зато... — я растерянно достал из кармана шесть или семь ещё тёплых белых двадцаточек, — зато я теперь знаю свою тайную благодетельницу... Это ты скрыто подбрасывала мне в карман денежки? Ты?..

Света долго сопела, не хотела сознаваться, но в конце концов еле кивнула и конфузливо отвернулась в сторону.

Я опустился перед нею на корточки, прижался щекой к щеке. С минуту я не мог вымолвить слова, потом тихонько, шёпотом спросил:

— Откуда у тебя деньги?.. Ты...

— Скажете, крада дома? — опередила она мой мучительный вопрос и фыркнула: — Вот ещё охота красть! Да мне мамка с папкой сами дают на морожено. Я не покупала... А ещё я выпрашивала все мороженые денюшки у Вовки Хорошкова, — показала на соседского мальчишку, тот катался на своей калитке, не сводя восторженных глаз с меловой свежей размашки по забору напротив «Квас — плешивый трус». — А бабушка не давала. Она никогда не давала на морожено! Вовка говорит: «А давай насбилаем копеечек, купим бандита, и пускай он убьёт её из лужья... Чоб не жадобилась...» Вовка «р-ры» не выговаривает ещё...

Я позвал Вовку, и мы втроём отправились на угол к ближней будочке мороженщицы.

— Тебе сколько, Вова? — спросил я.

— Тли! — выпалил демонёнок и для верности вскинул три оттопыренных пальца.

Я купил им по три эскимо, и мы расстались.

Мир тесен: все время натыкаюсь на себя.

М. Генин

Я почувствовал себя на вершине блаженства. Мне пришла счастливая мысль о том, что настали мои лучшие времена, те самые времена, когда я обещал сам найти Розу, и я покати к ней в общежитие.

Вахтёрша сказала, что Роза только-только куда-то вышла и непременно с минуты на минуту вернётся, поскольку Роза большая домоседица.

Я присел у двери на табуретку. Минут час, второй, утащился третий... Роза всё не возвращалась. Где-то под одиннадцать я уехал. Мы так и не увиделись.

На вокзале я посидел на своей лавке против камеры, погладил блёсткую деревянную «перину»... простился... и побрёл наверх, в зал ожидания, где было и народу тесней, и свету ярче, и где не надо мне больше жаться от милиции.

Теперь я могу спокойно сесть на широкую скамейку с гнутой спинкой и ждать, как и всякий в этом зале, своего поезда. Пускай подходит ментозавр, пускай спрашивает, куда мне ехать. Не пряча глаза, спокойно отвечу, что еду в Каменку, что поезд мой будет ближе к рассвету. Здесь я сяду затемно, а выйду в Каменке уже при дне...

Я сидел как порядочный пассажир, мурлыкал про себя:

— *Силач-бамбула*

Поднял четыре стула,

Выжал мокрое полотенце

И сделал прыжок с кровати на горшок...

Тут ко мне подлетел Бегунчик.

— Синьор! Простите мои мозги, не врубакен... Вы как затесались в этот вагон для некурящих? — обвёл он широким жестом громадный гулкий зал. — Вы не бойтесь, — подолбил кривым каблучком в пол, — что ваше место в погребухе захватит какой-нибудь бамбук?

— Нет, — ответил я себялюбиво и уставился на синяк у него под глазом. — Где разжился?

— А-а... Кулачок с полки упал... — кисло отмахнулся Бегунчик. — А между прочим, именно там, — опустил он взгляд, — у камеры ждала тебя до одиннадцати кралечка... На пару с костылём.

Серьёзная... Важная... Сидит, как мытая репа. С виду не похожа на вокзальную фею с горизонтальной профессией¹¹⁰.

— Кончай петь Алябьева¹¹¹! — отмахнулся я.

«Значит, мы разминулись в пути, — с досадой подумал я о Розе, как о чём-то отошедшем, отстранённом. — Значит, не судьба...»

— И с каких это пор птичке свое гнёздышко не мило? — не отставал Бегунчик. — Не хочешь ли ты сказать, что твоя вокзальная эпопия уже кончилась?

— Представь! — стиснул я его локоть. — Через три часа с копейками я отбываю.

Бегунчик боком вжался между мной и обрубывшем, коротким пухляком — сонно отрезал ножом толстые кружочки от венка колбасы и откусывал хлеб от целой буханки.

— Я ведь тоже отбываю чудок попозже твоего, — прихвастнул Бегунчик. — Только я не ликую в отличку от некоторых... Тебя, рыжик, спасла эта штуkenция, — постучал по моему гипсу, — а то бы ты накрылся калошкой и был бы ещё грустней меня. Наш бандерлог, — Бегунчик притишил голос, — уже намылился двинуть тебя в дело.

— Какое ещё дело? — перехватил я его робкий, жмушщийся взгляд.

— А простое... Сами мы чистюли... В городе, в пригороде чистоту наводим... Чистим-блестим! Убираем, что плоховато висит-лежит по дворам... Голубятники мы немножко... По совместительству немножко воздушники, слегка баншики¹¹²... Так, мелочишкой баловались. Кассиров¹¹³ у нас не было... Ничего серьёзного. Нам совсем мало нужно было набрать форса¹¹⁴ до Одессы. На билеты набрали, а на харч не успели. Ямщика¹¹⁵ нашего замели. Это тот... с селёдкой¹¹⁶... В конверте¹¹⁷ уже... а может, и в сушилке¹¹⁸... Не продал бы всех нас... И весь таборок ударил по югам. Двое уже оборвались. Нырнули...

И чем дальше я слушал, тем всё твёрже убеждался, что Бегунчик вовсе не какой-нибудь матёрый мазурик, а так, горькое дитя беды. Уже давно свернулась война, а долгие её шипы жалют всё больно. Отец у Бегунчика погиб на фронте, мать угнали в Германию. В фашистском концлагере выжила. Вернулась. Но за то, что была в плену, её репрессировали. И уже в советском концлагере пропала без известий. Детдом подымал мальчи-

ка. Пробежал девять классов, прижгло удрать в одесское военное училище, которое когда-то кончил отец. «Стану офицером. Как отец!» А пока стал Бегунчиком. Так в детдоме называли беглецов. Сумел Бегунчик тайком вскочить в ночной скорый поезд, но проехал всего одну остановку, дальше ревизоры не пустили. Завозились в милицию сдать — удрал. Решено: заработаю на билет и доберусь до Одессы. Но кто возьмёт тебя хоть на любую работу, раз у тебя никаких документов? Вокзальная стая паспорта с постоянной пропиской не спросила. Не спросила даже имени. Довольно клочки. Рослый проворный парень глянулся ей: ноги-пики длинные, легче такому уходить от погони. Стая, кочевая, цыганская, скакала из города в город. Всё равно было куда ехать, абы не торчать на месте, и она согласилась на Одессу. На Одессе настоял Бегунчик. Ночами Бегунчик лазил по дворам, набирал снегу — срывал с верёвок бельё. Раз бельё на ночь выброшено или забыто, значит, считал он, в нём не очень-то и нуждаются, значит, оно лишнее, и он брал, по его мнению, у людей ровно столько, сколько им не жалко выбросить и сколько нужно ему и ни на копейку больше. И вот деньги добыты, билеты взяты. Уезжали по двое. Так надёжней. Вчера уехала первая пара, сегодня двинется вторая. Но у Бегунчика беспокойно на душе. Хоть его билет и при нём, да ехать без напарника настрого заказано. Да придёт ли тот к поезду — бог весть. Нашёл, может, гость из тьмы лёгкую на уступку машерочку, ночует у неё и не пригреется ли к тёплому бочку трёпаной рыбки до таких степеней, что не захочется подниматься к раннему поезду, плюнет на всё да и останется? Бегунчик чувствует себя как на пристяжке.

Бегунчик распрекрасно понимает, что ему вообще не по пути с этими путаниками, а так, пока до Одессы, очень даже по пути.

— Дотянусь до моря вот — там они меня только и видали! Там я от них отчалю... Там... У меня цель... Отцово училище... Это тебе не баран начал!

— Как же! — привскочил я от удивления. — Дождается училище! У тебя документов никаких! Пути до первого милицейки! Ну, ты ж без...

— А наиглавный документица со мной, — Бегунчик важно погладил себя по лбу. — Знания.

— Там с тебя потребуют и свидетельство за во-

семь классов, и паспорт, и характеристику... Да и... Не поздно ли? А ну экзамены там уже прошли?!.. А ну крутнётся... Поцелуешь пробой и назад... А если так... Дошлёпай в школе годик и на точняк поступай!

Бегунчик долго смотрит в пол. Кривится.

— Да сам, тетеря, об том уже тут думал... Прости мои мозги, не врубакен... И вперёд какой-то шаткий путь, и назад некуда отступать... Выскакивает какая-то фигунция... Не на что отступать... Хоть пой романс «Что нам делать, как нам быть, где нам маньки¹¹⁹ раздобыть?..» Как где-то я читал, «в том и судьба, что все пути перед тобой открыты, а денег на дорогу нет». Катани без билета — сдадут святоши ревизоры в милицию. А с милицией пригремень к своим в детдом... Это... — Бегунчик замолчал, прислушиваясь к объявлению по радио. — О! — осклабился. — В мою сторону тот же скорый, на котором долетел я сюда. Уполовинили стоянку. Припаздывает...

— Слушай, — тереблю за рукав Бегунчика, — у касс пусто! Добрые люди по ночам не ездят... Если возьму билет, поедешь назад? Не рассуждай. Да или нет?

— Откуда у тебя манюхи? И ты — мне?.. — напряжённо соображает Бегунчик. — Прости мои мозги, не врубакен... За какие такие заслуги перед Отечеством?

— Да-да или нет?

С минуту Бегунчик думает и трудно, еле заметно кивает. По своему паспорту я сдал его билет в кассу и взял новый. До его дома.

А самому мне пришлось ехать без билета. Ревизоры не прозевали меня, прищучили уже у самой у Каменки. Вывалил я всю правду, как велел секретарь: и про своё вокзальное житие, и про Бегунчика, и про бесплатные дорогие обкомовские советы. Они слушали, похохатывали. Ну заливает! Ну заливает!

И кончили так:

— Басни ты сочинять мастак. Да мы не всякой басне веру даём. Пускай ещё милиция тебя послушает. Повеселится. А то, небось, скучает она там в твоей Каменке.

Дежурный с миром, без штрафа, отпустил меня, как только ревизоры полезли в вагон.

За игру ума можно получить по мозгам.

С. Скотников

Дня через два поехал я от Митрофана в Насакирали — перевезти маму.

С поезда я прибежал домой уже под вечер. Посёлок был пуст. Все ещё толклись на чаю, дёргали грузинские веники.

Я побежал к маме на участок. Именно побегал. Я не мог идти шагом, нетерпение толкало меня в спину, и я летел вприбег. За доро́гой, на участке, закреплённом за мамой, её не было. Значит, где-то в общей бригаде. А где? Может, нашу двадцать четвёртую бригаду кинули в помощницы какой-нибудь другой бригаде и где тогда искать?

Я изнизал все бугорки, все наши огородики, забежал на милую реченьку Скурдумку, избёгал все тропинки, выглаженные нашими детскими босыми пятками в глянecь — всем поклонился, со всеми поздоровался. Со всеми с поклонами простился...

Было уже совсем черно, когда я вернулся в посёлок. Блёклые огни робко супились из окон. В длинном нашем бараке не было света лишь у Чижовых да у Семисыновых, у наших соседей. Чижовы, наверное, уже уехали в Россию. А что с Семисыновыми? Меж чёрными окнами, стражами ночи, как-то тускло, неуютно, пугливо светилося наше окно.

Как я и думал, Чижовы съехали в свой Икорец под Лиски. А с Семисыновыми свертелась такая чертовщина... Ещё утром всю семью видели в посёлке. А вечером сползается усталый люд с плантаций — на семисыновской двери толсто дуется чёрный комендантский гиревой замок. Раз замок комендантский, комендант может знать, куда подевалась семья средь бела дня.

— Я слыхала стороной, — рассказывала мама, — стали мужики потихоне спрашивать комиссара Чука, что с Семисыновыми. А Чук и скажи: «Этого казуса вкруг пальца не обмотаешь... Больно много понимал этот ваш Семисын об совхозе и тюрьме. Сколе было пето этому ухабистому... Не тычь на других пальцем, как бы на самого не указали всей рукой!..

Так и не доехал до правильного понятия... Что ж... Долгий язычок подрезает дни». Больше не стали спрашивать. Убоялись... Та... Такая жизнь...

— Где это видано, чтоб семья пропала среди дня? Где такое бывает?

— И-и, сынок... — мама стихила голос до шёпота. — У нас чего только не бывает... Хочешь сцелеть — молчи, як гора...

— Чего же молчи? Вроде культ развенчали...

— То ли развенчали, то ли свенчали... Кто зна? — ещё тише возразила мама.

— А что такое деда Анис говорил про совхоз и про тюрьму?

— То-то и горе, что правду говорил... Совхоз наш выселенческий... Кто где по мелочи прошт-графился, его тут же по свистку оттуда, — ткнула пальцем вверх, — р-раз и — на выселки. Вот в такие совхозы-колонии...

— Мы тоже выселенцы?

Мама вздрогнула и замахала на меня руками. Тише! Тише!

— Какие мы там отселенцы?!.. Мы сами по себе приехали... Такие тут тоже проскакивают... Дед Анис говорил, что совхоз, что тюрьма — никакой разницы. Только тюрьма по ту сторону колючей проволоки, а мы, совхоз, по эту сторону проволоки... Что мы на чаю возюкаемся, что заключённые... И ещё он говорил, что в колхозе люди за палочки в тетрадке корячатся, что и в совхозе чуть не даром гнутя на плантациях. Май — самый напор, самый сбор чая. А норму такую вскрутить, что хоть примри на том чаю, а не ухватишь большь сентября. Почитай на тех же колхозных палочках едем...

— А разве это неправда?

— То-то и горе, что правда. Тилько видишь, как та правда выходит? Был человек... Добежали его слова куда не надо — нету человека... Давай, сынок, лучше не балакать об этом. А то у нас стены ушастые...

— Давайте, — согласился я и с горечью подумал, что старшие боятся, таятся друг от друга, хотя и думают одинаково. — Давайте про другое поговорим. Я приехал увезти вас в Каменку.

Я думал, она обрадуется, а она вроде того и восстань.

— От так враз и ехать? — похлоливо свела руки на груди. — Да как же я всё брошу? Мне до

пензии шить годив... Дособеру тутечки свои года, тогда...

— Ма, да вы что? Жить порознь? Чего ради? Да у вас этих годов и так чёрт на печку не вскинет!

Она печально задумалась.

— Отсаживаете, хлопцы, от работы. Як же без работы?.. Пчела трудится — для бога свеча сгодится...

— Отдыхайте, пчёлушка... Вы своё отыграли. Хватит с вас и трёх свечей. Таких три лба вытянуть... Одни троих кормили! Да неужели мы втроем не прокормим вас одну?

— Та шо меня кормить? Инвалидка я яка? На хлеб заработаю, с ложечки кормить не треба... А как подумаю, как жить в той каменной Каменке... Опять одна комнатка... То вы были маленькие. А теперь? Митька отбыл морскую армейку. Глебка отбывает... Ты уже посла школы. Все ж взрослоучие мужичары. Как же мне, жинке, с вами с тремя в одной комнатке обретаться? Мы ж не скотиняки... Люди ж вроде... А как поехали из Криуши — всегда на семью одна комнатка и в Заполярке, и тут, и в Каменке... Хотя и совестно сознаться, я чуть вольней и дохнула, как осталась здесь на месяц без вас одна... Я ж человек... Не чурбачок... И болит душа без вас, и с вами вместе как быть?

— Нормально всё будет. Приедем в Каменку — в первый же день пойду с вами в райисполком. Повоюем за жильё. А оставь вас сейчас здесь одну... Не получится ли, что я снова приеду за вами, а у вас на двери — комендантский замок?

— Не дай бог дожить до комендантова замка...

В Каменке на второй день мы пошли с мамой в райисполком. На приём к председателю. Заняли очередь в том раю за рослой мужиковатой бабой.

Слово за слово. Та и спрашивает маму:

— Вы за чем прибёгли в этой рай?

— Да за крышей... У меня... Четыре души в одной комнатёхе в барачной засыпушке. Там та комнатка чуть разбежистей носового платка. Как кулюкать четверым в одной такой куче?

— Это свинарня, а не людская жильё...

— Так я главно не сказала. У меня три взрослоучка сына! Да я в пристёжку к ним четвёрта... Вот тут как... Я всёжки женщина...

— Ой, подруга, в этом раю разживёшься... Понимаю твою горю и пускаю тебя поперёд себя. Тольке не спрашивай почему.

— А и вправде — почему?

Незнакомка наклонилась к маме, проговорила сбавленным тугим голосом:

— А то посла меня тебе может не хватить нашей найдорогой советской властоньки... Раз само выболтнулось с языком... Слухай... Я надбегала уже сюда за крышей... Ой, лёпанула! Не я, дочка прибегала... Мы сами из Голопузовки... Сельцо тут под Каменкой. Голопузовские мы, голокрышные... Совсем хатёха у нас плохущая. Ветер раздёргал солому, стоит хатёшка без платка... Я лежала с сердцем. Что-то забарахлил мой кожаный движок... Дочка прибегала сюда на приём просить на крышу... А этой туподрын, — кивнула на высокую лакированную дверь, за которой принимал председатель райисполкома, — заместо подмощи загорелся завалить её на свой райский столищу и хотел, извини, поставить градусник... Ну, чего все кобелюки хотят?.. Разлетелся косопузый вождёк скоммуниздить у дочки чистоту. А девка у меня непритрога... Детиница гренадерского росточку. При силах... Вся в меня... Чудок не прибила. Она у меня ещё та конёнка. Ка-ак со всей сильности гахнула ему пинка по ленинским местам¹²⁰ — сиськохват и скрючься поганим червяком!

— А дальше что?

— А дальше... Вот я пришла. Не за крышей себе — за крышкой ему. Принесла гробовой гостинчик... Вышак ему ломится!

Женщина чуть подвигала правой рукой. И я заметил, что у неё в рукаве был тяжёлый железный прут, поддерживала его колодцем ладони.

— Проломлю козлиный лобешник шкворнем... Дурь из него солью... А там будь что будет... До чего мы дожили?! Кто нами правит? Кому мы молимся? За кем мы, дурьё, бегим в той хренокоммунизмий? Пойди на первый угол — услышишь всё про этого председателёху... Взял какую-то Маруську... брошенку с приданым. С чужим дитём. Марусьяка эта его нигде не робит. А там живут — всего поверх ноздрей! И за что такие блага? Три класса в загашнике! Всегой-то три! А моя дочка поучёней, отбегала все десять! Так она коровам хвосты моет в колхозе... А он?.. А этот бугор в овраге был и первым секретарьком во многих районах, и предрик вот у нас... Командует районом, как подсвинок мешком... Бывший по найму пастух при соввласти пасёт

целые районы! Во пастушища! Будь этой шишак при грамоте, его б, мож, совесть хоть капельку держала в кандалах. А так... Распущён... Ох и рас-пу-щён этой Горбыль!..

Тут открылась дверь, и председатель прошёл через приёмную к выходу, держа какого-то старичка под руку и льстиво заглядывая тому в глаза, без примолку щебеча. Наверное, посетитель был важный, раз сам пошёл провожать.

Как только председатель выпнулся из открываемой двери, мама увидела его и, смешавшись, резко шатнулась за свою собеседницу.

В той засаде она была всё время, пока председатель снова не пропал за дверью в своём кабинете.

— Пошли отсюда, — еле слышно шепнула мне мама.

— Но мы ещё...

— Пошли... Вот так встреча!.. Пошли... Потом всё поясню...

На улице мама сердито выпалила:

— Ни к какому председателю я не пойду.

— Вам что, его походка не понравилась?

— Не до смешков... Ты знаешь, кто этот председатель?

— Председатель. И больше ничего.

— Да нет... Чего-о... Щё сколько чего-о... Собачанский наш сосед...

— Ну! — обрадовался я. — Тем лучше. Глядишь, по-соседски и помог бы...

— Мне-то он бывший соседец. А тебе — так целый папка!

— Это откуда такое?

— Так ты у себя и спрашуй. Кто в Насакиралях бегал встречать на дорогу батька с войны? Ты. Кто назвался тебе папкой? Он. Ты и привёл тогда его домой... Там, в Насакиралях...

Я стал кое-что смутно припоминать:

— А-а...

— О-о! — вздохнула мама. — Вот так встреча... Лучше я б всего этого не знала... Вот так Серёга... Вот так Горбыль... Как же можно так грязко пасть? А шоб его черти в дёте купали!

Некролога о Горбылёве не было ни в «Правде», ни в районке. Значит, Софья Власевна не понесла потерь в Каменке. Но тем не менее Горбылёва в Каменке не стало. Наверняка перебрались в другое куда место. С повышением.

В Каменке мама долго скучала по Насакирали. Скучала по своим стародавним товаркам и особенно — по Анисе Семисыновой. Скучала по работе на чаю. Скучала по той жизни, далёкой, трудной, но, странное дело, такой приманчивой. Видела себя: собирала чай. Видела: везли её чай на фабрику. Видела пачечки чая в лавке. Люди берут тот чай, берут, берут, берут... Многим был нужен её чай.

А теперь? Домашний генерал... Вести один дом. Сготовить, прибрать, постирать... Ну, на огородчике... Это не труд... Судьба до поры отпихнула, сдёрнула с работы, и жизнь привяла, поблёкла. Мама домашничала.

А мы все трое — скоро вернулся из армии Глеб — бегали на молочный заводик. Глеб — компрессорщик, я — помощник кочегара. И были мы под началом у Митрофана. Механика. В нас, бывало, тыкали пальцем. Во, семейственность механик развёл! Да будь она, эта семейственность, трижды крива! Выли мы с Глебом от той семейственности.

А всё потому — сладеньким добрячком повернулся к чужим Митя, стеснялся бить посуду. Один самовольно взял отгул за прогул; другой закатился не то в Волчанское, не то в Кривую Поляну свататься и на неделю увяз; третий в двадцатый раз хоронит одну и ту же бедную бабушку; четвёртый уже целую неделю ищет кобылу у цыгана¹²¹ и никак не может найти... Митрику бы стукнуть кулаком да покруче взяться за расхлябников, а он трусоват, себе на уме — всё спускает на ласковых тормозах: с людьми надо ладить, надо всё миром, надо всё добром.

Отпетые гуляки-лодыри́ты раскусили Митрика, выработали безотказную тактику: прогулял без причины — молча являйся с повинной чекушкой-выручалочкой. Митрик тут не смел отказать — смертно обидишь человека, и... в тёмном уголке врезался в водку, тянул мировую, уважительно восходил к алкогольным облакам, занюхивая принятое тремя пальцами.

Дальше — больше. Однажды перед промывкой котла Митрофан скажи лупоглазiku Мищенко:

— Полезай, зелень подкильная¹²², в котёл, осмотри всё, что там и как, проверь состояние труб и промывай, снимай всю нечисть.

Спесивый Мищенко, кочегар, никаких

Иван Иванович не признавал. Заартачился. Не полезу, не полезу! И Митрик — старшой! — сам полез в топку. После этого скандального «подвига» за ним твёрдо легла слава архидобрячка, совершенно безвредного и совершенно безвольного патрона-тряпки, и им стали крутить как кому хотелось.

Однако этот крутёж боком выходил нам с Глебкой. Это с чужими Митрик ниже травы да тише воды, а со своими лютей тигры. Как же! Начальник! Руль! Апостол! Неровно с ним дышим. Воистину, храбёр трус за печкой. Храбёр — на своих. Герой — на меньших. Другим что? Другим уже то хорошо, что своё начальство они видят лишь на работе от точки до точки. А ты круглые сутки «ликуй от счастья»! Да он тебе и дома не брат, а архимандрит.

Вот кто-то не вышел на работу. Кого кидать на прорыв? Кто у нас ближе? Кто нам доступней? Опять же ты! Ты отпрыгал свою смену. А он — тебе:

— Созонка¹²³, голуба!.. Протя¹²⁴!.. Адики¹²⁵!.. Выручайте!..

Не лаской, так таской по-родственному прижмёт, и ты, отстояв свою смену, стой ещё безразговорочно и за какого-то бабаягая-прогульщика. Или... Прижёт холодина, в самый момент лить лёд — масло живым льдом охлаждали, — а у заливальщика глубоко уважительная причина: лён с труда сбילה, попал в вермутский треугольник. Недельный запой. Потом ещё с полнедели продолжается перепелиная болезнь, опохмелка. Митрик и затыкает брешь не мною, так Глебом.

Толсто навалишь на себя всю тёплую одежду, шланг в руки и айда заливать. Когда тихо вокруг, терпеть ещё можно. Зиму я люблю, хоть мне и не до красот. На деревьях зима торжественно развесила стога снега. На мимо пробегавшей дороге неуживчивый жгучий мороз сгонял крестьян с саней и усаживался сам... Господи-ин Мороз!

Смотришь, как мужичок, спрыгнув с саней, потешно молотит за ними вследки ради подогревки, у меня весело согревается душа от той картинке. Работается в тихие погоды легко, в лад. Льёшь и льёшь из шланга, и горка льда растёт у тебя перед носом прямо на глазах...

А вот когда ветрюга... Нет-нет да и... Через раз

да каждый раз кидает на тебя обвалы воды из твоего же шланга, и к концу смены сомнение берёт, не знаешь, где больше льда, то ли на площадке, то ли на тебе. Сам к вечеру превращаешься в ледяную ходячую горку.

Как-то пришла разрядка послать одного человека на курсы компрессорщиков. Я тогда толкся уже в этих самых компрессорщиках. Слёзно прошусь на курсы.

А Митечка:

— Хоть ты и насобирал одиннадцать классов, а сошлю-ка я всё-таки в Воронеж на курсы Колюню Болдырева с четырьмя классами. Спровадь тебя, народ пальцем пойдёт потыкивать. Своих подымает! А курсы — это поощрение. А тебя за что поощрять? За метровый язычок? Сперва прикуси...

Всё припомнил братик родной. В строку воткнул и мой ответ директору.

Однажды раз зимой... А холодаря, звериный ветрина. Сбрасываю я с саней глыбы льда в ящик с солёной водой. Подлетает горбоватый дохля Кулинченко. Сам директорий-крематорий!

— Где твой холод? Масло горячее!

Тут пуп рвёшь из последних сил, а ему всё не так! Психанул я.

Брезентовые рукавицы дёрг-дёрг с рук. Сую ему:

— Охлаждай сам своё масло!

Почему-то директор рукавицы у меня не выхватил, но тут же нажаловался Митечке (они подошли вместе):

— Ты разберись со своим звурёньшем¹²⁶. И здоровски разберись!

Потом Митечка целый месяц без перерыва на обед и на сон подвоспитывал меня, всю душеньку прозудел...

Ну, и поплыл на курсы алик Болдырев. А мы с Глебом тоже поплыли из-под Митечкина крыла. Вообще ушли с маслозавода. Выше ноздрей хлебнули мы с Глебом «счастья» из бездонной чаши семейственности. Хватя пахать на Митечкину доброту! Хватя ему на чужом горбу ехать в рай, свеся лапти! Закрываем этот мандёж!

Ну, тут и ангелы изругаются. Не стерпели: треску бояться — в лес не ходить! Махнули вместе с Глебом в райпромкомбинат «в качестве разнорабочего на шлакоблоке», как записали каждому в трудовую книжку.

Новая работушка была весёленькая. Сперва на огромном железном листе перемешиваешь тэцовский шлак с цементом, с песочком. Не забываешь оплёскивать водичкой всю эту тоску. Погарцуешь, погарцуешь с лопатицей на месте... Потом в форму в станочке метнёшь лопаты три этой сыри, колотушкой разровняешь, прибьёшь. Врубишь моторик, станочек-вибратор припадошно затрясётся, уплотняя, ужимая смесь, и вот уже через двадцать секунд стенки формы разом откидываются на все четыре стороны — получай блок, может, вчетверо покрупнее обычной кирпичины, дырчатый, шатучий, хлюпкий, дышащий на ладан, готовый во всякий миг развалиться.

Блок сидит на поддоне, на тяжёлой железной пластине. Подхватываешь поддон, вальнул блок к пупку и рысцой из-под навеса на открытую площадку. На солнышко сохнуть. Случается, не добежишь до солнышка, рассыплется прахом. Плюнешь и бегом остатки на поддоне назад в форму.

И снова с рыком, в лихорадке трясётся вибратор, и снова сама слетает форма со свеженького, ещё горяченького блока, и снова он как-то вызывающе, голо стоит перед тобой на подставке, и снова хватаешь его, и снова летишь к солнышку... До смерточки унянчишься с этими блоками, все руки пообрываешь, еле ноги вечером дотащишь до барака. Зато знаешь, кончился день — топор в пень! Тебя больше ни одна собака не тронет.

И на Митечку Иринарха, обхватившего в чумной тоске голову руками — не знает, кого теперь и ткнуть в прорыв — взглядываешь победно, героём. Ведь теперь ты «горд как дикарь, метнувший удачно стрелу!»

А в выходные я убредал в окрестные сёла, искал истории для газеты. Всё своё отправлял прямо Саше Штанько, и раз от разу заметочки мои бóльшели. Не ушло и году, в мае позвали в область. На совещание юнкоров.

И восходит на трибуну достопочтенный франтоватый Усачёв. И говорит с трибуны достопочтенник высокие слова про то, что вот раньше, в войну, солдаты с парада на Красной площади шли прямо в бой. И сейчас есть фронт — новые газеты в недавно созданных

сельских, глубинных районах. И сейчас есть бойцы, которых хоть сию минуту направляй на передовую. В новые газеты. И слышит всё собрание покаянный рассказ про то, как приходил я к Усачёву проситься в газету, и про то, как не поверил он в меня, и про то, что вот сейчас он принародно винится, что в прошлом году пальником он щелкнул — проморгал журналиста и должен сейчас исправляться, и исправляется не иначе как с данием, то есть с вручением мне почётной грамоты обкома партии «За активное участие в работе советской печати». А к грамоте пришпиливается обкомовское направление в село Щучье. В районную газету «За коммунизм».

Мама совсем потерялась душой, узнав про мои скорые, срочные сборы в Щучье.

— И на шо ото, сынок, ехать? — жаловалась, отговаривала меня мама от Щучьего. — Чужа сторона, чужи люди... Один-одиною... Один душою... Да Антонка... Та кто тоби рубашку поглядит? Та кто борщу сварит?

— Сидя у матушки на сарафане, умён не будешь. Не ваша ли присказка?

Мама не ответила.

— Надо, ма, когда-то и от сытого борща уезжать... — виновато заглянул я маме в скорбные глаза.

— От сытого никогда не поздно уехать... А к какому приедешь? От у чём вопрос... И на шо ото сдалась тебе та писанка по газетах? Чижало ж составлять. Головой и маракуй, и маракуй, и маракуй... И где ото стилько ума набраты? У соседа не позычишь... Не займёт... А голове отдых надо? Нет?..

Так говорила мама, укладывая мне в грубый длинный и широкий тёмно-синий мешок самодельное тёплое одеяло, две простыни, тканёвое одеяло, подушку метр на метр. Меньшей в доме не было. Сама шила. Сама набивала пухом со своих кур.

Всё укладывала в мешок, который я потом, уже в Щучьем, набил сеном, и был он мне матрасом долгие холостяцкие годы.

Укладывала мама, а у самой слеза по слезе, слеза по слезе, а всё каплет! Всё моё приданое и пересыпала слезами.

Примечания автора

- 1 – Федулай – божий человек.
- 2 – Родионка (от «Иродион») – трезвый, рассудительный.
- 3 – Павсикакий – прекращающий зло.
- 4 – Мируся, Миракс – отрок.
- 5 – Витрина – лицо.
- 6 – Пасенька, Пасикрат – унимающий зло.
- 7 – Шелестелки – деньги.
- 8 – Агний, Агнуша – непорочный.
- 9 – Аршин – стакан.
- 10 – Крабошлёп – моряк.
- 11 – Зелёная конференция – пьянка в лесу.
- 12 – Никотиновая палочка – сигарета.
- 13 – Французская шапочка – презерватив.
- 14 – Шашу-беш (здесь) – любовь.
- 15 – Красная армия – месячные.
- 16 – Лямур пердю (от фр.) – любовь проходит.
- 17 – Хмелеуборочная – машина медвытрезвителя.
- 18 – Хлёбово разводить – вести пустые разговоры.
- 19 – Фанушка, Фан – светоч, факел.
- 20 – В то время в Грузии русские дети изучали грузинский язык. Поэтому учёба в средних русских школах удлинялась на один год.
- 21 – Ваня, Урван – городской.
- 22 – Грелка – бутылка водки.
- 23 – Вечный двигатель – спиртное.
- 24 – Емеля, Фамелий – краугольный камень, основание. Максим – самый большой, величайший. Саточка, Саторнил – сытый. Макрида – худая. Фиса, Фелицата – счастье. Лев – лев. Леонида – львица. Парра, Пард – барс. Ксанфиппа – рыжая лошадь. Гурий – молодой лев. Урсула – медведица. Лупан – волк. Тигруня, Тигрия – тигрица. Кася, Касторий – бобр. Лейка, Лея – антилопа.
- 25 – Любовь с криком – изнасилование.
- 26 – Хлеборезка – рот.
- 27 – Давить ливер – наблюдать за кем-либо; ухаживать за женщиной.
- 28 – Бациллярий – курительная комната.
- 29 – Астма – сигареты «Астра».
- 30 – Кирюня, Кирилл – владыка.
- 31 – Мара, Мар – мужчина. Нуния, Нунехия – имеющая здравый смысл. Плака, Плакилла – лепёшка. Линуся, Лина – скорбная песнь. Симуля, Зосим – живой. Иля, Гилар – весёлый, радостный.
- 32 – Северок – туалет.
- 33 – Тимолаюшка, Тимолай – честной народ.
- 34 – Лимон – начальник.
- 35 – Аквалангист – запойный пьяница.
- 36 – Обломинго – провал, неудача.
- 37 – Серафим – огненный ангел.
- 38 – Огни коммунизма – крематорий.
- 39 – Телячье время – ранний вечер.
- 40 – Расценённый – бесценный.
- 41 – Судомиться – возиться.
- 42 – Одномандатник – верный муж.
- 43 – Опупыш (уральское) – неровность, бугорок.
- 44 – Опрутеть – оцепенеть.
- 45 – Стуколка – девушка лёгкого поведения.
- 46 – Оломедни – на днях.
- 47 – Опилыш – отрезок бревна.
- 48 – Опойка – шкура молочного телёнка.
- 49 – Охлёстыш – человек с дурной репутацией.
- 50 – Осердная – вспылчивая.
- 51 – Дворянин (здесь) – человек, ночующий на дворе.
- 52 – Лысенский – металлический рубль с изображением В.И. Ленина.
- 53 – Банковать – хитрить.
- 54 – Дадон – неуклюжий.
- 55 – Лобастый – стакан.
- 56 – Хохотальник – лицо.
- 57 – Ширинка – калитка.
- 58 – Локалку прошить – сделать пролом в глухом заборе с колючей проволокой поверху.
- 59 – Дуршлять – спать, дремать.
- 60 – Биток – тучный, плотный.
- 61 – Сиделка (здесь) – старая дева.
- 62 – Балкон – высокая женская грудь.
- 63 – Шнурки – родители.
- 64 – Морковкина академия – сельскохозяйственный техникум.
- 65 – Гегемонить – работать простым рабочим на заводе.
- 66 – Манация – сельское профтехучилище.
- 67 – Батискаф – унитаз.
- 68 – Лобастенький – автомобиль «Мерседес».
- 69 – Взять на гецилло – взять на прицел.
- 70 – Утюг коммунизма – крейсер «Аврора».
- 71 – Genug (нем.) – довольно.
- 72 – Оболдуйская (уральск.) – потерявшая способность соображать.
- 73 – Обиходница – хорошая хозяйка, любящая чистоту и порядок в доме.
- 74 – Обвейки – мякина.
- 75 – Ехать на небо тайгой – врать.
- 76 – Артиллерист (здесь) – страдающий расстройством желудка.
- 77 – Рыжик (жаргонное) – золотая вещь.
- 78 – Алюра – девушка.
- 79 – Полундра – некрасивая девушка.
- 80 – Активированная погода – нерабочая погода.
- 81 – Клюша – певун.

- 82 – Гитаросексуал – талантливый, увлечённый гитарист.
 83 – Митрошка – народный судья.
 84 – Митрополит – председатель областного суда.
 85 – Бабай – ростовщик.
 86 – Воробушки – деньги.
 87 – Гравёры, блиномесы, блинопёки – фальшивомонетчики.
 88 – Мясницкая – больница.
 89 – Сменить воду в аквариуме – помочиться.
 90 – Пятая хирургия – морг.
 91 – Идолы – зубы.
 92 – Пойти посмотреть, как солдаты из ружья стреляют – сходить в туалет.
 93 – Держать ким – спать.
 94 – Трясти бедой – проказничать.
 95 – Топориться – важничать.
 96 – Отремонтировать бестолковку – разбить голову.
 97 – Утечь коломутной водой – исчезнуть бесследно.
 98 – Фрельня – белоручка.
 99 – Гегемон – пролетарий, рабочий.
 100 – Сквородничек – двенадцатидневный поросёнок.
 101 – Лебедь – двойка.
 102 – Шмели – деньги.
 103 – Чуланиты – щёки, покрытые мхом.
 104 – Советто-ебалетто-шик – красавица из кордебалета.
 105 – Копач – следователь.
 106 – Чалкина деревня – тюрьма.
 107 – Киль – большой нос.
 108 – Санчик – сантехник.
 109 – Витамин Ц – девственница.
 110 – Горизонтальная профессия – проституция.
 111 – Петь Алябьева – рассказывать небылицы.
 112 – Голубятник – вор беля. Воздушник – вор с воев. Банщик – вокзальный вор.
 113 – Кассир – взломщик несгораемых касс.
 114 – Форс – деньги.
 115 – Ямщик – скупщик краденых вещей.
 116 – Селёдка – галстук.
 117 – Конверт – камера.
 118 – Сушилка – карцер.
 119 – Маньки – деньги.
 120 – Ленинские места – пах.
 121 – Искать кобылу у цыгана – бездельничать.
 122 – Зелень подкильная (*морское*) – о человеке, вызывающем раздражение.
 123 – Созон – спасающий.
 124 – Протасий – ставить впереди, выдвигать вперёд.
 125 – Адельфий – брат. Адя, Адики – брат, братья.
 126 – Звурёныш – ребёнок с диагнозом ЗВУР – задержка внутриутробного развития.



Анатолий Никифорович САНЖАРОВСКИЙ

родился в 1938 году в селе Ковда на Кольском полуострове.

Журналист по профессии. Прозаик, переводчик.

Первая публикация как прозаика состоялась в 1978 году.

Автор книг «Красное коромысло через реку повисло» (1981, 1983),

«От чистого сердца» (1985), «Оренбургский платок» (2009, 2012),

«В Киеве не женись!» (2012), «Жена напрокат» (2012),

«Русиня» (2013), «Сибирская роза» (2016) и др.,

в том числе 16-томного собрания сочинений.

Роман «Оренбургский платок», высоко оценённый Виктором Астафьевым, вышел в переводах на хинди и болгарский.

Член Союза писателей Москвы.

Живёт в Москве.

В журнале «Север» публикуется впервые.

